

18+

Стефания Вишняк

Испекли
мы каравай...

Роман

Стефания Вишняк

Испекли мы каравай... Роман

«Издательские решения»

Вишняк С.

Испекли мы каравай... Роман / С. Вишняк — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-936372-5

Олька, родившись в недружной семье, одержима идеей налаживания мира среди домочадцев, дабы не допустить ее распада. С раннего детства она берется за предотвращение этой угрозы. В период отчаяния, осознав, что осуществление этой идеи ей одной не под силу, она вдруг узнает от своей бабушки об уже имеющемся у нее с самого рождения надежнейшем друге и покровителе — о ее собственном ангеле-хранителе, который еще с момента ее рождения готов прийти к ней на помощь, стоит лишь только его призвать...

ISBN 978-5-44-936372-5

© Вишняк С.

© Издательские решения

Содержание

Книга I. Ангел	6
Глава I	7
Глава II	17
Глава III	24
Глава IV	36
Глава V	47
Глава VI	56
Глава VII	70
Глава VIII	81
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Испекли мы каравай...

Роман

Стефания Вишняк

© Стефания Вишняк, 2018

ISBN 978-5-4493-6372-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Своим Ангелу и любимой доченьке посвящаю

Книга I. Ангел
Семейная сага

Глава 1

До возвращения с работы Катерины Гавриил успел погрузить в свой грузовик всю нехитрую домашнюю утварь и даже заколотить досками единственное окошко их глиняной мазанки. Едва завидев появившуюся на горизонте жену, он неторопливо направился к ней навстречу:

– Поехали, Катя, в Атбасар! – Решительно выпалил он, дружелюбнее, чем она ожидала.

– Явился – не запылится... – остановив на муже холодный презрительный взгляд, прощедила сквозь зубы она.

– Та не придуривайся... Хватить о то бычиться, шо мышь на крупу. Поехали! Мы с Иваном вон усё вже погрузили... – Переминаясь с ноги на ногу, кивнул он на кузов со скарбом. – Та я жеш и ключ вже ему отдал... от этой чертовой халупы, будь она неладна...

Переведя взгляд с восторженно повизгивающей ребятни в кабине грузовика на избушку с невесть откуда взявшимся проржавевшим амбарным замком на входной двери, Катерина оторопела, почти физически ощутив, как ее душа медленно уходит в пятки: «Быстро же ты, гад ползучий, управился... А откажуся ехать, он жеш опять завьётца годика на два... Да еще и детей прихватит вместе с барахлом... И остануся тада одна-одинёшенька перед пустою хатою да посреди этой чертовой степи... Получаитца, и нету у меня другова выхода?.. И бесенят теперь этих, рази, вытащишь с кабины? И сам... Сам, скорей, паразит, здохнет, но ни детей теперь не отдаст, ни барахло не разгрузит. Это ж ему, наверна, там бабка разгону дала, шо заявился... Припо-олз... как тот уж...

Та, была ни была: поди, хуже, чем здесь, в Атбасаре не будет. Да и дети – такие же его, как и мои: шо со мною, но без него они полусиротами были, шо с ним – без меня будут... И начёрта тада, вапще, жить на этом свете?.. Сам наплодил, сам пускай и помогает их подымать... чем за другими юбками-то ухлестывать... Как завез в эту степяку, так пускай и увозит отсюдава! Это со своей родины я бы теперь – ни шагу, а его... Да гори она синим пламенем, эта его родина! Пропади она пропадом! Може, хоть в Атбасаре не буду, как похороненная заживо...»

– ...Та и корову жеш мы с Иваном вже продали, пока ты на работе о то была... – похлопав по нагрудному карману гимнастерки, продолжал меж тем Гавриил, – там о то поросят на них купим или сначала за хату ращитаемся. А, када Иван продаст эту халупу – привезет нам туда за нее денежки: я ж договорился с ним еще утром, как тока приехал. Там жеш, Катя, мы с матерью присмотрели вже хатку о то для нас. Во-от... Щас прямо туда и поедем... И речка ж там – эта ж сама Жабайка тикётъ, и школа – прямо через дорогу, и горсад жеш там о то рядом. А главно – свет у хате есть! Я жеш сам там лампочку вже укрутил!.. Так шо, там не то, шо тут... Та поехали вже, не выкаблужуйся!

Катерина не сомневалась, что мужем и сейчас руководит его закоренелая расчетливая бессердечность, но выбор для нее, похоже, не предвиделся...

– Лампочку он... А-а керогаз... керогаз-то мой не забыл?.. – Спросила, наконец, она, постепенно обретая дар речи. – И керосинку ж, там – снял со столба?..

– Та снял! И усё узял! Та керосин жеш, шо у канистре там о то был – усё погрузил. Давай, давай, Катя, не выкаблужуйся, садись у кабину, та поехали. Тольку я себе на коленки возьму, нихай о то «порулит», – почуяв, что жена сдаётся, распорядился он. – Малую – ты бери, а Анька нихай посередке сядить. Поместимся усё! Надо ехать, пока о то не стемнело... Мине жеш теперь, видишь, бортовую дали... – суетился муж, уже в который раз проверяя наглухо закрытый задний борт. – Та такой жеш «ГАЗик» о то, тока кузов вместо о той бочки с бензином, будь она... Так шо, у кузове теперь усё, шо хочешь возить можно. Та садись жеш о то, та поехали вже!

– Ма!.. Поехали!! Мама, поехали! Ну, ма-а!.. – Кричали из кабины наперебой дети.

– А-а... А моя трудовая... книжка?! – Вдруг растерянно спросила Катерина, уже садясь в кабину. – Меня ж куда без её там...

Но Гавриил поспешно захлопнул за ней дверцу, обежал машину, сел за руль и включил передачу:

– Не бойсь, Катька! Заберу я... и твою трудовую заберу: еще не раз погонят о то и у твою вонючу контору... Но жить сюда, язви, мы не вернемся больше о то никада-а... Усё, хватить! Нажились вже тут под саму о то завязку! На гада оно здалося – жопу морозить у этой степи? Я жещ, язви... Я жещ, Катя, ни на одной о то карте так и не нашел о тот чертов Муйнак, будь он неладен... Та мы шо, – хуже о то усех, шобы о так о то мытарствовать, та сопли тут на кулак о то наматывать? Не-е, незнаю, как ты, а с меня о то хватить...

– А хто ж меня сюда завез?! – мгновенно отреагировала Катерина. – Или тада думал, если нету на карте Муйначка, то и скроисся тут от всех своих элиментов?... – холодно добавила она. – Понаплодил, а потом и скрываетца по энтим степям, шо ниде и на карте не сыщешь. Тока душеньку мою еще больше тут заморозил...

– Не бойсь, Катька, живы будем – не помрем! – почесав под фуражкой затылок, Гавриил попытался тут же завершить нежелательный разговор.

– Н-ну, видно, хорошую прочуханку получил от матери? То-то! Тока... – всё больше приободрялась Катерина.

– А шо «тока»? Шо «тока» -то? – начинал злиться он.

– Та тока надолго ли коту блин?..

Он отлично понимал, что имеет в виду жена, но проигнорировал упрек, и черты его смуглого вечно хмурого лица вдруг смягчились в усмешке:

– Во-от... Зато, када мы ехали сюда, нас тока трое о то було, а теперь, вон – цела кабина, язви... – констатировал он и, лукаво улыбнувшись, нарочито задорно прибавил, – та хоть белага света со мною о то повидала!..

Катерине было явно не до шуток. Она лишь промолчала, уставив невидящий взгляд за лобовое стекло.

– Теперь жещ мы у самом городе о то жить будем... А там жисть – не то, шо тут... – С нескрываемой радостью предвкушал он вслух грядущие перемены. – Так шо, считай, мы теперь – городские, язви... – искренне рассмеялся муж и, вмиг посерьезнев, добавил. – Хватить, пора точку ставить на о той проклятой степной жизни! В самого вже нема никакого терпения о так о то мучитца...

– Па, а там... ну, в городе... э-э, Ангелы там есть, а? Ну, тоже прилетают? – спросила вдруг старшая дочка.

– Шо-шо, Анька? Шо еще о то за Ангелы?... – Недоуменно поинтересовался отец, и его непривычная вспышка веселости мгновенно угасла, сменившись обычной угрюмостью.

Катерина, сообразив, что прозорливой Анькой последний разговор с недавно навестившей ее свекровью был не только прослушан, но и неплохо усвоен, быстро нашлась:

– А-а, это ж баба Ариша, када приезжала на Паску, сказку им про какого-то там Ангела рассказывала...

И тут же спохватилась: «Тю, дернул же черт за язык... Он же знает, шо его мать сроду сказки не рассказывает... Еще, чего доброго, как подымет прямо в дороге бучу...»

– Ну, так прилетают или нет, а, па?... – меж тем не унималась Анька.

– Тебе вже у школу, вон, считай, через месяц, а в тебя одне сказки о то на уме. Ох, Анька ты, Анька... О така вже здорова, а ума нема... – проворчал отец, не отрывая взгляд от дороги. – Ну вот, вже, язви, и тёмно, – включив дальний свет, бормотал он, – я жещ думал, шо мы засветло у в Атбасар успеем, шоб не по потёмкам о то разгружать...

Под монотонный гул грузовика дети начали клевать носом и вскоре дружно засопели. Отец семейства крутил баранку и тихо напевал:

– Ветер за кабиною носитца с пылью,
Залило дожжём смотровое стекло...

На-на-на-на... Забыл, язви... Не слыхала, Катя, о такую песню, га?

– Это у твоём Муйначке я бы тебе её слыхала?

– Жалко... Хороша песня. Душевна о така... У ней усё, как о то про меня узяли та сочинили! Я вже два раза её слыхал: и оба ж раза у Мартыненковых... По радиву пели у них. О-от... К ноябрьским, дасть о то Бог, сами себе своё радиво купим. Усе вже давно понакупляли себе по радиву, а мы, чем о то хуже других?.. Ветер за кабиною носитца с пылью...

– Ну-ну, и будем сидеть у твоём городе голожопые на нетопленной печке лапу сосать и слушать твое радиво... – вставила Катерина.

– А к радиву потом понакупляю пластинок... – мечтательно продолжал Гавриил, пропустив замечание мимо ушей.– И заживем, как о то белые люди... А потом, дасть Бог, еще и на гармошку накоплю...

– «Даст» Он тебе накопить, как раз... С твоими элиментами...

– Та скока тебе раз о то говорить, не с «элиментами», а с «алиментами»! Грамотейка, язви... Метрики я еще учера о то выписал ей, о-от ... – кивнул он в сторону младшей дочки. – Так шо, теперь они усе утроём о то при документах...

– Как хоть у метриках там её записали?

– Та как мать сказала, так и записали.

– Как она сказала?

– Так Ольгою жеш, а шо такое?..

– Та говорила она, када приезжала, шоб – Ольгою... Мы то попривыкли уже ее Манькою та Кланькою. Вот и получаитца, шо ей еще тока два года, а у ней уже аж три имени, – усмехнулась Катерина, взглянув на младшую. – А, када родилася – какова числа записал?

– А, как та стара сказала, так и записал: тринадцатого ж мая пиесят восьмого. Та я ж ей шо – не батько, и сам о то не помню, када она родилася?

– Вапще-то, двенадцатого ночью, а не тринадцатого. Хотя, во второй раз... как раз, наверна, и тринадцатого...

– Та я ни гада не слышу, шо ты там о то бормочешь себе под нос... – буркнул Гавриил и продолжил напевать, – Ветер за кабиною...

– Канешна, услышишь ты... Или, може, думаешь, шо в *тот* проклятуший день совсем мою память повышиб?.. – с горечью промолвила жена.

Но Гавриил смолк, и оставшийся путь до самого Атбасара они больше не проронили ни единого слова.

Катерина освободила онемевшую руку из-под уснувшей у нее на коленях младшей и расправила подол платья. Устроив ребенка поудобнее, она некоторое время разглядывала в полумраке кабины ее черты, и незаметно для себя погрузилась в воспоминания уже более чем двухлетней давности...

– Доброе утро, дочка! Я видела как ты с вечера, еще вроде как «тяжелая» была, когда на речку-то с коромыслом бежала... А сейчас, чуть свет, с ведрами-то полными, но сама – «пустая»... И с кем же тебя поздравить-то?

Катерина едва удержалась, чтобы не сказать невесть откуда появившейся в их крохотном степном поселке с не более, чем двумя десятками домов, чужой, совершенно незнакомой женщине: да, избил муж-зверюга за то, что она собралась ехать к родной матери на похороны! Да, порвал телеграмму и не дал денег на дорогу! Да, попало от него за то, что она опять с пузом – дескать, пока его не было, гуляла тут напрополюю... Сам-то после этого умотал, а у нее преждевременные роды начались, что и пуповину некому было перерезать. Вот и родила синего полуживого недоноска...

Но ничего такого она не сказала, потому что, говоря откровенно, голос таинственной незнакомки, внезапно оказавшейся в трех шагах от ее дома, отдаленно напоминал голос ее, теперь уже покойной матери, и потому, наверное, внушал ей доверие:

– Да, бабушка, ночью... Та и не доносила ж я ее целых два месяца. Так шо, похоже, поздравлять-то меня и незачем.

– А что так? Да опусти ты коромысло-то, тяжело ведь!

Катерина послушно поставила ведра:

– Та-а... када выходила за водой, она, вроде как, дышала еще. Та и куда мне третьего? Тех поднять хватило б силушки. Я уже ей и гробик тока шо заказала у Карпыча, и новая наволочка у меня есть ей туда... Не зароешь же, как собачонку...

– Тебя как зовут то?

– Та Катей.

– Меня – Амалией. – Представилась незнакомка. – Так вот, Катенька, сейчас поставь эту водичку на плиту, а я, как только она закипит, и загляну к тебе.

Катерина совсем ослабела, ее мутило и, едва поставив ведра на плиту еще под утро растопленной печи, она вдруг почувствовала, что ноги подкашиваются, в глазах все расплывается, и лишь в голове промелькнуло: «...тока не проснулись бы эти бесенята... та не перепол охалился, если совсем свалюся...», как она погрузилась в кромешную тьму.

Очнувшись, она увидела лицо склонившейся над ней новой знакомой, и зареванных старших, которые сидели у ее изголовья здесь же, на глиняном полу, и вдруг бурно чему-то радовались. «Пооди, радехоньки, шо я очи-то разула. А че это я... разлеглася? Обморок, наверно, был...» – первое, что подумала она, придя в себя.

Поднимаясь с пола, Катерина несколько оживилась и робко обратилась к новой знакомой:

– Я долго тут... ну, лежала? Вы давно пришли?

– Давай-ка, Катенька, заварим эту травку с корешочками, – пропела Амалия мягким, так напоминающим маменькин, голоском. – Только мы их по отдельности... – продолжала она, развязывая тесемки на приятно пахнущих льняных мешочках, и, вынув содержимое, опустила его в кипящую воду.

– Так. Теперь ставь на стол корыто. Подготовила чистенькое ребенку?

– Та-а... вот... нашла тут кое-чиво... То, шо от старших пооставалось, – комкая застиранную пеленку, стыдливо промолвила Катерина. – Я ж не думала, шо... шо еще придётца... да еще так скоро...

– Ничего, давай, что есть. Воду чем набирать? Еще понадобится пузырек, Катенька, или просто бутылка. И столовую ложку подай.

Дальше Катерина, словно опытная операционная медицинская сестра, безупречно исполнявшая поручения хирурга, мгновенно реагировала на все, что ни велела ей делать Амалия.

– Окошко-то на восток смотрит? – спросила Амалия, и, не дожидаясь ответа, развернула принесенный с собой белоснежный ситцевый платок, вынула крошечную иконку со свечным огарком и установила на подоконнике:

– Господи, а имя-то?.. Как назвать то ее решила?

– Та не думала я еще... Она ж, наверна, все равно... э-э.. В общем, если выживет, тада и назову как-нибудь.

– Молитва до Боженки, дочка, не дойдет без имени. Может, Машенькой назовешь? – пыталась помочь Амалия.

– Та, хоть Манькой, хоть Кланькой поминайте в своей молитве... – Иронично произнесла Катерина, устало отвернувшись, – а то вода вон скоро поостынет...

Амалия в молчании подошла к окошку, зажгла свечку и начала молиться. Затем, не прерывая молитвы, периодически крестясь, она ловко распеленала новорожденную, погрузила ее

трижды в отвар травы, затем – кореньев, закапала несколько капель какого-то снадобья в уже начинавший розоветь ротик ребенка и бережно запеленала.

Лишь направляясь к выходу, Амалия вновь заговорила:

– Дышит или нет, проверь с помощью перышка: из подушки вытяни и – к носику его. Если будет спать трое суток подряд – будет жить. Сама не буди ее, не корми, а просто при-сматривай.

– Аж трое суток не кормить? Та она же тада – *того*... – недоуменно протянула Катерина.

– Да, Катенька, приложишь ее к груди, когда только сама проснется. Есть молочко-то?

– Вроде есть... – Катерина рассеянно провела ладонью по груди.

– Вот и хорошо. Ты пока его сцеживай, чтобы, не приведи, Господь, не пропало. В той бутылке, – кивнула Амалия на стол, – девять ложек отвара. Только если проснется раньше трех суток – дашь ей еще девять капелек. А уж потом, после каждого кормления, не забывай закапывать этот отвар так же по девять капелек, до самых тех пор, пока у нее щечки не порозовеют. – И, немного помолчав, она тихо добавила, – так что, скажи своему Карпычу, чтобы ничего там не мастерил... И самой тебе, Катенька, надо бы хорошенько выспаться.

У Катерины, так давно в последний раз слышавшей в свой адрес подобное утешительное напутствие от любимой маменьки, мгновенно увлажнились глаза, а к горлу подкатил комок:

– Меня... Меня моя маменька тоже так называла. Завтра ее похоронят, но без меня... – хриплым дрожащим голосом, едва сдерживая рыдание, сказала она, и вдруг, словно опомнившись, спросила, – А вы сами откуда? К кому приехали-то?..

– Да издалёка я. Приехала, вот... родню навестить... – промолвила Амалия, едва слышно кивнув в сторону речки.

– А-а. Ну и ладно, шо зашли, та помогли мне тут... Одна бы я не додумалась и не управилась бы так... – пробормотала Катерина, пытаясь улыбнуться сквозь наворачнувшиеся слезы.

– Спаси тебя, Господи, дочка. И ребятишек твоих... – Амалия перекрестила стоящую на пороге Катерину и легкими быстрыми шажками пошла в сторону речки.

«Надо же, как на маменьку похожа...» – промелькнуло в голове у Катерины, провожающей взглядом удаляющуюся тонкую фигурку Амалии, – «Тока вряд ли эти ее вершки та корешки помогут – шо мёртвому припарка. Та теперь-то, будь, что будет. Девять ложек, девять капель... Трижды три... Ну да, „Бог же любит Троицу“...» – пришло, словно озарение. И вновь перед мысленным взором встал теплый образ неожиданной помощницы: «Какая то она... не такая, как те бабки-повитухи, шо старших у меня принимали... И имя такое я раньше не слыхала никада... Наверно, к Аникеевым приехала, ихний дом ближе всех к речке, раз в ту сторону помчалась...» – заключила она, затворяя дверь.

Тогда Катерина, конечно, и мысли не допускала о том, что видела она свою новую знакомую с редким именем Амалия первый и последний раз...

Ближе к полудню, с появлением на пороге мужа, все происходило словно в очередном кошмарном сне...

– Я у Ивана переночевал! – объявил с порога Гавриил, как, ни в чем ни бывало. И, медленно опуская взгляд округлившихся глаз, он сначала уставился на вдруг ставший в его отсутствие плоским живот жены, затем на лежавший на подушке сверток с ребенком. – Э-э-э! Так ты... Та ты, шо, о то... ночью о то.. родила его, язви тебя... чи шо?..

– Нет, на дороге подобрала! – вдруг, неожиданно для самой себя, отважилась на слишком смелую шутку Катерина.

Трехлетняя Анька и полуторагодовалый Толик сначала сидели тихо, но, почувяв неладное, подбежали к матери, и, ухватившись за ее подол, «грозно» уставились на отца, будто желая таким образом защитить ее, если он, как вчера, вновь начнет ее бить.

Отец семейства, метнув в сторону жены взбешенный взгляд, приблизился к аккуратно запеленатому ребенку и, наклоняясь все ниже и ниже, отвернул краешек пеленки со лба новорожденной... Вдруг, подскочив к Катерине и размахивая кулачищами, он взревел:

– Та это же не моё!! Ты кого о то хочешь объегорить, га?! Это ты меня собираишься объегорить?! Та меня жеш почти год о то дома не було! Нагуляла, курва, пока я по командировкам?! С чеченами тут таскалася, сучка?!

– А ты забыл, шо на ноябрьские, паразит, приезжал?! – не желая давать начинающему терять над собой контроль мужу повод снова позабавиться на ее счет, вскрикнула Катерина.

Гавриил заметался по избе, загибая пальцы и бурча что-то невнятное, потом снова кинулся к жене:

– Да говорю же – не сходитца!!!

– Та че ты бесисся, га? Я же не доносила ее целых два месяца! Пощитай – с ноябрьских, а щас – май, ну?..Грамотей... – Чем убедительнее старалась говорить Катерина, тем, словно предчувствуя неладное, ей труднее было совладать с предательски дрожащим голосом.

Меж тем, Гавриил снова метнулся к новорожденному:

– Та оно... Та оно жеш и не живое о то... А если и живое, то это ж не дитё, а какое-то... какое-то кошенятко о то... И, шо оно такое о то синее, га? Анька-то с Толькой – кра-асные были! Та у него еще и волосы... о то... черные!? Та разье...

– Орет, словно у самого белые... – вновь удивившись про себя внезапно появившейся уверенности, промолвила Катерина, и сделала очередную попытку усмирить разбушевавшегося мужа. – Може, хватит уже, га, Гаврил? Та на мне вже и так живова места нету, после вчерашней бучи...

– Хва-атить?! Я т-тебе покажу, как «хватить»... У Аньки с Толькой белые были, а это – чеченёнок! Та вылитый Жамлай!! С Жамлаем путаишься, сука, пока я о то по командировкам, га?!!

– Та на дороге я подобрала ее, паразит ты такой!! Татары вон... чи эти же твои чеченцы бросили, а я подобрала!..– осознав, что остановить надвигающуюся бурю не удастся, зло крикнула Катерина.

Этого было достаточно. Невидимая рука, доселе держащая поводья, ослабила хватку, и Гавриил закусил удила.

– Она мне еще и перечить о то будеть?! Ах, ты ж, курва!! Та я ж тебя, суку о таку, убью!!! – Яростно заорал он, набросившись на жену с таким дьявольским оскалом, что насмерть перепуганные Анька с Толькой с ревом разбежались по углам.

– Да Гаври-и-ил!.. Та детей же переполохаешь... Ма-амонька!..Помоги-и-и... – умоляюще вскричала Катерина, защищая руками то голову, то живот, то спину от ударов.

Но Гавриил, выкрикивая бессвязные угрозы и проклиная все на свете, пустил в ход кулаки, а когда Катерина упала, принялся избивать ее ногами, как и вчера, не подумав снять свои кирзовые сапоги. Словно избличая природную злобу, бил он обычно жену, пока не уставал сам. И в этот раз его уже не останавливал ни крик детей, ни корчившаяся на полу их мать.

...Лишь когда звук бензовоза, на котором рассекал по целинным степям Гавриил, полностью растворился в гнетущей тишине, Катерина выдохнула:

– Господи! Если ты есть, помоги, шобы этот гад больше никогда не появлялся...

Всхлипывая и размазывая по щекам слезы, Анька подошла к лежащей на полу матери и присела на корточки рядышком:

– Ма-а... а, ма? А зачем вы ее подо... подобрала-али, а? Давайте мы обра... обратно отнесем ее... и отдадим обратно татарам, м-м, ма? А то, когда папа приедет, он... он обратно будет драться, а, ма? Ма-а... Ма-ма... Мама!! Откройте глаза... Мама!!! Откройте гла...

– Та он... доченька... больше не приедет... даст Бог... – прошептала мать, с трудом приоткрывая веки...

На следующее утро Катерина, как могла, прикрыла платком побои на лице и, убедившись, что дети еще крепко спят, впервые за последние три с лишним года, положившись на собственное разумие, отправилась в контору совхоза устраиваться на работу.

Приняли ее на неполный рабочий день разнорабочей. И уже с завтрашнего дня она должна была высаживать саженцы деревьев на обочинах степной железной дороги. «Будет хоть на муку. И корова не даст подохнуть с голода. Проживем, как-нибудь... Сама подыму детей! Не пушу больше никада этого изверга! Господи, дай мне силушку.... Простите меня, маменька, шо не приехала и не проводила вас по-людски в последнюю дороженьку... Если бы вы только знали, маменька...»

Спустя два года неожиданный визит Катерине нанесла свекровь. Сначала Катерина терялась в догадках: «И че это ее черти приволочили: в такую даль, та по такому бездорожью? Може, этот, ее родимый Гаврыло там взорвался на своем бензовозе, она и прикатила попричитать та пожалеть сиротинушек? Если так, то туда ему и дорога...»

Но через мгновенье она уже дивилась себе, обнаружив, что при виде свекрови впервые испытывает удивительное спокойствие, словно обид и в помине не было: «Права была маменька: „...не таи ни на кого зла, Катенька, а времечко, оно с Божьей помощью само всё устроит и ранки подлечит.“ ... Не боюсь я теперь ни эту поганую бабку, ни ее Гаврыло! Сама виноватая, сама и буду выживать со своими детьми... Сама поехала за этим паразитом в глухомань, никто меня не тянул! Сама подпустила в свою жизнь этого проклятушего многоженца. И его мать тут ни при чем. А то, шо она ненавидит меня, то, наверна, есть за шо. Ей там, в Атбасаре и самой не сладко, поди, с таким сыночком; наверно, все печенки там ей уже повыворачивал за эти два то года, шо, вон, аж о внучатах своих вспомнила...»

– Хрыстос воскресе! – с характерным украинским акцентом поприветствовала ее Арина Александровна.

– Здрасьте... – вполголоса ответила Катерина.

– Так трэба жеш казати: «Войыстыну воскресе». Э-э-эх, безбожныки... О-о, чи ты ни одного яичка о то нэ покрасыла? – окинув зорким глазом жилище снохи, не дожидаясь ни ответа, ни приглашения, свекровь направилась к столу. – Та ничёго, Катя, ничёго.. А де жеш оци обыдва голодранця? Я жо тут им гостынчикив ось прывэзла, – развязывая узел белого, в мелкую крапинку платка, надтреснутым голосом проскрипела она, – оце ж усё у Храми, Катя, освящёнэ. Та сама жеш о то исповэдалася, та причастылася... Та зви жеш дитэй о то!..

Придвинув к столу старый, грубо сколоченный табурет, свекровь устало на него опустилась и протяжно вздохнула. В ее вздохе, казалось, была сосредоточена вся горечь и бесконечная скорбь этого мира.

– Анька! Толька! Быстро идите все у хату! Баба ваша приехала! Та Кланьку ж не забудьте там... – окликнула мать с порога ребятню.

Бабушка, не подавая вида, что на самом деле не помнит, когда видела в последний раз своих внучат, начала раздавать гостинцы:

– Анька, та пидойды ж до бабы, онучечька. Скильки ж, вжэ тоби зараз рокив сполнылося, га? Чи ты нэ сразумиишь, шо баба каже?

– Скоро будет пять! – отрапортовала доброй бабушке, раздающей вкуснятину, Анька.

– Вже пять? Тоди дэржи, це – тоби! – угостила она внучку конфетами, пряником и ярко-желтым яичком. – Ну, а ты жеш, чей о то хлопчик будэш, га?

– Мамин. И мне три с половинкой года. – Толик, приблизившись к бабушке, доверчиво подставил обе ручонки в ожидании гостинцев.

– Та якый жеш, Толька, ты мамин, бо вылитый батько?! На ось – це тоби, – улыбнувшись беззубым ртом, бабушка щедро одарила и внука. – Бо твий батько такый жеш самый був, колы був малэнький, як ты!

По правде говоря, Аньку с Толькой в этот момент мало волновало, кто на кого похож и, вразной поблагодарив бабу Аришу, они уселись на топчан и зашуршали фантиками от конфет.

– А хто ж за вас будэ казати: «Спасибо мами, спасибо Боженьке...», га? Чи забулы, як бабушка вас вчила? – Арина Александровна шутливо погрозила внукам костлявым пальцем, и, повернувшись лицом к невестке, продолжила – оце ж у вивторок поминальный дэнь будэ, пиду на кладбыще, у сэбэ- в Атбасари... У мэнэ, жэш, Катя, сэстра помэрла... ще у Сретенье, – снова тяжело вздохнув, она выложила на стол несколько пасхальных яиц и горсть конфет, и стала завязывать узел платка.

До этой минуты неподвижно стоявшее на пороге хаты большеглазое существо с копной буйных каштановых кудрей на голове, вдруг ожило и тоже, довольно робко подошло к бабушке.

– О, а оце ще чий – соседско, чи шо?.. – задорно спросила она, кивнув на ребенка.

– И это, мама, тоже наше!.. – нарочито задорно ответила Катерина, – и в следующем месяце ей сполнитца уже два...

Свекровь, часто моргая, в крайнем волнении смотрела на девочку. Обычно плутовато прищуренные глаза ее вдруг стали размером с пятак.

– Постой, постой... Так... цэ ж воно и е о то кошенятко, про якого мэни Гаврыло тоди казав, чи як?.. – вновь обрела она дар речи после затянувшейся, было, паузы.

– Оно... – тяжело выдохнула Катерина.

– Так воно нэ помэрло?! – искренне удивилась Арина Александровна. – Вин жэш, кобелюка такый... вин мэни казав, що воно, той... Свят, Свят, Свят... Ще ж приихав тоди до мэнэ, злой, як собака – гу-у, аж искры из зубэй!.. – Понемногу справляясь с волнением, она продолжила уже тише: – Вин жэш, Катя, нэ по бабам, а у мэнэ усё цэ врэмья був... Мы ж, з ним тоди, грэшным дилом, та и подумалы, що похоронила ты бо о то кошенятко... Свят, Свят... Як назвалы-то ее?

– Да ни як.

– Як цэ так – «нэ як»?..

– А не до имен мне, мама, было. Отзываетца, и ладно... – смутилась Катерина, втянув голову в плечи.

– И на що ж такэ воно о то отзывается?..

– Та-а, то на Маньку, то на Кланьку... – прикрыв рукой невольную улыбку, ответила сноха.

– Яка ще Кланька? Хиба – Манька?! Та побойся ж Бога, Катя, бо в тэбэ ж тёлка о то Манькою була!

– А када мне ехать за метриками ей, если зимой – сугробы выше крыши, а весной, вон, сами видите, как Жабайка разлилася, шо ни дороги не видать, ни проехать, ни... Та и... А хто за меня работать и эти три рота кормить будет? Подрастет, там ближе к школе и поеду у ваш тот Атбасар за метриками этими, будь они не ладны. Начёрта они ей щас-то?

– Так воно ще и бэз мэтрикив?.. – укоризненно покачала головой шокированная свекровь, не отрывая, по-прежнему, глаз от дитя. – Катя, Катя... бо войны, Слава Богу, нэмае, а дэтына бэз имэни та ще и бэз мэтрикив... Як жэш це воно так, га?..

Постепенно обретая самообладание, бабушка взяла безымянную внучку к себе на колени и снова развязала платок.

– Давай, я тоби рукава закачаю, онученька, та ось яичко... – очищая, видимо, от волнения, все попадающие под руку привезенные яички подряд, она продолжила, – Ось, тэпэрь нэ мацкай, а бэри та зышь! Та як жэш цэ ж воно так, що дитя вже бигае, а ще нэ названо?..

«Начинается... Щас будет укорять „засранку о таку“ за грязь у хате, за чумазых „дитэй“...» – начиная заводиться, подумала Катерина.

Но подозрительно притихшая свекровь достала из кармана носовой платок... и Катерина вдруг впервые в жизни увидела на ее глазах настоящие слезы...

– Як жеш, Катя... як цэ воно о то выжило, га? – Арина Александровна, машинально вытирая выцветшие глаза уголком повязанного платка, забыв о носовом, первая нарушила молчание.

– Та-а, так и выжило... – тихо промолвила Катерина. – Тада в Муйнак к кому то бабушка приезжала... Я так и не поняла, к кому она. Думала к Аникеевым, но те потом сказали, шо к ним нихто сто лет в обед и носа не казал... Опщим, она, как внезапно появилась, так и ищезла.

– Ну, потим, що? Що потим о то було?

– Ну, накупала она ее в травах каких-то та корнях, шо с собой принесла... та помолилася там – у окошка. А утром пошла я на работу, этим же наказала, шоб тихо сидели, – сноха кивнула в сторону старших, – прихожу домой, а они передрались тут, как черти, орут, как скаженючие... Порастрепали, засранцы, всю подушку, на которой же она там на топчане лежала. Сами, шо лисята в курятнике – в перьях та пуху оба, и эта – Кланька-Манька на полу. И вся хата в перьях! Ой, было тут... Подняла ее, смотрю – живёхонька. Та живучая она... Эти, вон, тока за прошлую зиму аж по три раза переболели, а она – хоть бы хны. Ну и тада, правда, после того бабкиного купання, она ни разу не проснулася, спала, как убитая, аж пошти четверо суток! Эти же двое и потом, чё тока тут не вытворяли, пока я на работе-то. А как тока она разинула очи, я ей сразу дала цыцку, как та бабка и велела. Взяла-а! Пососала, почамкала, та и снова спать. Да, Манька?

– Дя-а... – протянула, улыбаясь набитым ртом, Манька-Кланька, словно понимая, о чем идет речь.

– Мы тут потом ее еще и свешали безменом: кило четыреста она тада всего весила! Не то, шо щас...

– Так це ж, мабудь, Катя, був... Це ж, Катя, був Ангел... – вполголоса задумчиво произнесла свекровь.

– Кто-о?

– Цэ Ангел був... Як-як, кажеш, ей звалы? – перекрестившись, Арина Александровна остановила взгляд на притихшей внучке.

– Та-а, и имя в неё... В опщим, сказала, шо Амалией зовут.– Моргнув, отозвалась Катерина.

– Амалля? Кажу же, Катя, шо Ангел це був, – внезапно оживилась гостя, – ты ж у той дэнь на похороны матэри бо нэ поихала? Нэ поихала! Ось Господь и послав його до тэбэ, шоб... шоб о це дитяtko нэ помэрло... – снова набожно перекрестившись, она добавила, – мэни ж тоди Гаврыло, якщо заявысь, казав, шо твоя матэ помэрла. Царствие ей небеснэ...

– Та какой тут, мама, Ангел – в этом Муйначке засратом? – ухмыльнулась Катерина.

– ...Та хочь звэсылы тэбэ о ци бэзбожныки, Манька... чи ты Кланька? – не обращая внимания на реакцию снохи, вдруг приободрившись, сказала свекровь и крепко прижала к себе ребенка.

Пристально взглядевшись в личико новоиспеченной внучки, Арина Александровна вдруг всплеснула руками:

– Та як жеш це тэбэ твий ридный батько тай нэ прызнав, га?! Катя, дывысь, та воно ж – вылита я! Дывысь, як воно на мэнэ походэ!.. – взяв девочку за плечи, она легонько ее встряхнула, – побачь, Катя, побачь, як мы з нэю... Як о то дви капли! Тильки в нэй глазки о то нэ мои. А так усё, як у мэнэ и е!

– Ну-ну, а то ж я первый раз ее вижу, – улыбнулась Катерина. Глядя на то, как общаются бабушка и внучка, она почувствовала, как на душе у нее стало спокойнее.

Минуту-другую свекровь сидела и смотрела прямо перед собой невидящим взглядом, а потом задумчиво произнесла:

– О це будэ Ольга.

– О-Ольга? – настала очередь искренне удивляться невестке. – Это ж с какова переполоху она у нас вдруг будет теперь Ольгою, а, мама?

– Ма будь, ты нэ зразумишь, що е бо о така свята – Ольга. Тай и сэстру жеш мою, шо помэрла, так о то звылы. Ныхай, Катя, воно будэ Ольгою, – лицо Арины Александровны стало жетским, и теперь уже назидательным тоном, она продолжила:– Так, мэтрику Гаврылю прывзээ. Бо вин шас у мэнэ, як шелковый став. Та и вы ж тут уси тэпер зовыть ей тильки Ольгою, зразумилы?!

– Вы как будто с того света говорите... Та мине-то какая разница? Ольгой, так Ольгой... – вдруг легко согласилась Катерина, будто что-то замышляя.

Посидев в безмолвии еще какое-то время, бабушка поднялась с места, усадила на табурет младшую внучку, перекрестила ее и спросила невестку:

– Значить, кажешь, пьятдэсят осьмого року воно народылося, у травень? А якого травня? Як у мэтрике записаты?

– Той жеш ночью и родилася – с двенадцатого на тринадцатое. Та, рази мне до часов тада было?.. Помню тока, шо понедельник был... вроде... Или вторник – не помню.

Сухо, но явно не без чувства исполненного долга, попрощавшись с Катериной, свекровь вышла из избышки и, не оглядываясь, пошагала в сторону дома своего старшего сына Ивана.

К кружке с чаем она так и не притронулась. И узелок, с которым она, было, собиралась в Радоницу на кладбище, остался лежать на столе...

...Увидев впереди огни приближающегося Атбасара, Катерина повернула голову и стала смотреть через боковое стекло на звездное небо: «А, може, диствительна, то и был Ангел от моей маменьки? Она ж и сама мне скока раз говорила, шо в семье лишнего рота не бывает, када я пужалася, шо снова беременная. И всё молилася, молилася... Хоть и тайком, но всегда и за всех. А если бы не прислала она мне тада ту Амалию?.. Наверна, шо-то да есть там, на небушке этом...»

Глава II

«Городскими» семья Гавриила и Катерины была ни много, ни мало, до октября шестьдесят четвертого. И в течение всего этого времени перемен у них особых не наблюдалось. Разве что, ровно через девять месяцев со дня их переезда и через три дня после полета в космос первого в мире космонавта, Катерина родила четвертого ребенка, мальчика. Назвали его вовсе даже не по традиции – Юрием, а в честь погибшего на войне маминого старшего брата Павла, заменившего ей умершего сразу после ее рождения отца.

В Атбасаре они поселились в такой же, как и в Муйнаке, старенькой каркасной мазанке, главным украшением которой, и то лишь снаружи и в летнее время, был травяной ковер на крыше. В гораздо большей степени новоселов обрадовала электрическая лампочка, тускло освещавшая одну из комнат. Впрочем, в их новом жилище было и еще одно отличие от муйнакского: пол в избушке был не земляной, а покрытый, хотя и старым, выдавшим виды, но все-таки кровельным толем; да и окошко было не одно, а целых два, хотя, по размеру они были такие же крохотные, как и на прежнем месте жительства.

Гавриил продолжал крутить баранку в самый разгар освоения целинных земель и дома он появлялся, как впрочем, и прежде, весьма редко. По причине того, что из доброй половины его зарплаты аж по двум исполнительным листам отчислялись алименты, оставшихся средств семье едва хватало. Несмотря на то, что отец семейства периодами как-то пытался выкраивать из оставшейся части зарплаты когда на мешок картошки, когда на комбикорм пороссятам, а когда на уголь или дрова, им приходилось туговато.

Катерина устроилась техничкой в школу, которая, благо, была прямо напротив дома. Пороссят они, все же, купили и, в свою очередь, неплохим подспорьем для их вскармливания были иногда перепавшие отходы из школьной столовой.

Оплата услуг детского сада для четверых отпрысков была родителям, конечно, не по карману, поэтому дети были предоставлены, в общем-то, сами себе. Общаясь с соседскими ребятами, они, собственно, получали кое-какую информацию о существовании неких детских заведений, в которых хотя и нет родителей, но всегда тепло, светло, полно игрушек, а кормят несколько раз в день едой, о которой им и помышлять-то не приходилось. Но претензий по этому поводу к своим «батькам» они не предъявляли, потому, как уже на этот вопрос им был дан однозначный ответ мамы: «В детский сад водят своих только богатые буржуи, потому что им самим нехрен делать, ни деньги девать некуда».

С позволения сказать, интерьер их нового жилища мало чем отличался от прежнего и состоял из весьма нехитрой утвари, которую супругам удалось нажить в течение нескольких лет совместного проживания. В первую очередь входящему в дом бросался в глаза деревянный столб посреди главной жилой комнаты, которая была размером не более пятнадцати квадратов. На этот столб, служивший опорой для провисавшего потолка, они повесили, керосиновую лампу, только здесь она предназначалась на случай отключения электроэнергии. Слева от входной двери стоял добытый отцом целинный трофей – пятидесятилитровый армейский цинковый бак для воды. Далее у окошка, смотревшего во двор, находилась порядком пострадавшая от бесчисленных переездов деревянная тумбочка с двумя дверцами на вертушке, по облупившейся краске которой было видно, что ее когда-то сначала красили коричневой краской, затем зеленой, а потом и небесно-голубой. Эта кухонная тумба, с приставленными к ней двумя табуретками, помимо своего прямого назначения, служила обеденным столом для родителей. В двух шагах от этого универсального предмета обихода, близ небольшой, но достаточно высокой печки-голландки с чугунной плитой располагался приземистый круглый столик для детей, обедающих, как это было принято в их семье, отдельно. В закутке за печкой, в дальнем темном углу комнаты, находился сооруженный из горбыля топчан, на котором спали родители.

Над их ложе висела люлька, которую, когда родился Павлик, старший брат отца, Иван, дал им напрокат. Угол справа, освещенный вторым окошком в доме и загороженный фанерой, был местом, где на сколоченном из того же горбыля топчане спали трое старших. У Ольки навсегда сохранится в памяти кислый вкус утоляющего, как ей тогда казалось, голод, уголка засаленного зеленого ватного, повидавшего виды, детского одеяла, используемого ею на случай, когда уж очень хотелось есть, а реветь уже не было смысла.

Справа от входной двери, на длинной и еще ни разу некрашеной скамейке, заваленной всякой всячиной— от валенок и сапог с портянками до запчастей отцовского авто. Над скамейкой и далее по всей стене, словно на стенде, на многочисленных ржавых гвоздях невероятных размеров, периодически и беспорядочно вбиваемых отцом, располагался так называемый гардероб, где вперемешку с верхней зимней одеждой всех членов семьи тут висело и по паре отцовских, еще армейских, гимнастеров с галифе, ватных стеганых штанов да фуфаек. Комплект, что почище, был у главы семейства как повседневным, так и парадно-выходным, в другом же, более промасленном, он ремонтировал основного кормильца семьи – «ГАЗик». На гвоздях повыше болтались то шапка, то ремень со звездой, то фуражка; тут же висел отрывной календарь, а также, связки нанизанных на проволоку гаек и подшипников. Словом, в доме было всё необходимое для нормальной жизни среднестатистической советской семьи.

Самой привлекательной в их хате вещью являлся, пожалуй, деревянный сундук с тоже изрядно облупившейся зеленой краской – некогда приданное Катерины, в котором находилось всегда пахнущее плесенью, скомканное белье и прочее тряпье. Пару-тройку раз в году, когда в доме появлялся сахар, мама во время ужина раздавала его строго по одному кусочку, а остальное прятала обратно в этот сундук, непременно запирая его на амбарный замок.

Это позднее, к концу шестидесят третьего, у них появится еще мебель: небольшой обеденный столик, за которым Анька, а затем и Толька будут учить уроки, этажерка, детская железная кровать для Ольки и Павлика да панцирная кровать для родителей. Так же интерьер их жилища пополнится, как когда-то обещал отец, радиоприемником с проигрывателем и двумя пластинками с самой замечательной на свете музыкой: вальсом «Дунайские волны» и песней «Пусть всегда будет солнце».

Самым ярким и счастливым воспоминанием из Олькиного детства в Атбасаре был день, когда отцу довелось возить по целине корреспондента из республиканской газеты, дядю Валеру. Сначала отец заехал домой в надежде перекусить и, конечно же, угостить представителя СМИ, но ни мамы, ни крошки хлеба в доме не оказалось. Разгневанному главе семейства ничего не оставалось, как выругаться и, остервенело хлопнув дверцей своего «ГАЗика», вместе с гостем покинуть дом. Дети тут же отчаянно заголосили в четыре глотки, искренне полагая, что отец, а тем более, такой красивый и опрятно одетый гость, больше никогда сюда не придут. Рев в избе стоял до самого их возвращения, да не с пустыми руками, а с мороженым в вафельном стаканчике и сногшибательными подарками: Аньке дядя Валера самолично вручил настоящую куклу, Тольке – бежевый войлочный мячик, Ольга получила крохотного, едва помещавшегося на ее ладошке, пластмассового беленького зайчика, а годовалому Павлику досталась плитка гематогена в красивой обёртке с нарисованным на ней медведем. Пока отец чистил селедку и отваривал картошку, дети в знак благодарности рассказали дяде Валере все стихи, которые только знали. Дядя Валера тогда их всех за это похвалил, а Тольке выразил особое восхищение за то, что тот почти мгновенно отгадал загадку про «А» и «Б», которые сидели на трубе.

В тот день их счастьем, казалось, не было предела: ведь у них никогда еще не было игрушек – они и не подозревали, что детям, вообще-то, такое полагается, ибо в их семье не было принято позволять себе столь непозволительную роскошь. Потому-то Ольке и в голову не при-

шло, что пластмассовый зайчик с трогательными глазками-бусинками – игрушка, а не живое существо.

Увы, радость этого дивного, несказанно-негаданного события была омрачена уже на следующее утро.

Разбудил Ольку доносившийся из-за перегородки голос мамы:

– ...Та я ж говорю вам, шо сожгла их тока шо у печке! Эх, как они потрескивали – тока «тр-ресь, тр-ресь»! Особенно кукла! Она ж вся опилками была понабита! – явно насмехаясь, говорила она.

Не обнаружив зайчика в постели, Оля, было, спохватилась, но какое-то мгновение еще надеялась, что мама просто шутит со старшими, и, робко подойдя к ней, подняв огромные страдающие глаза, спросила:

– Мам... А-а-а... мой зайчик где, м-м?

– А ну, мотай отсюдава! Не путайся ты-то хоть тут под ногами! – вскрикнула мама, оттолкнув младшую и, надевая фуфайку, с ухмылкой торжествующего инквизитора добавила. – И зайчик твой тока и запищал!

Слезы слепили ей глаза, сердце разрывалось от горя, прежде ей неведомого – ведь у нее никогда еще не бывало ничего своего, о чем стоило бы горевать:

– Ему же... Да ему же... больно.. было, ма... – и, не в силах более сдерживаться, Оля расплакалась, щедро орошая бархатистую поверхность своих щек.

– А мне, думаешь, не больно было, када... када ваш жеш любименький ба-атя полночи меня шпынял за вас же паразитов?! Вы-то спа-али, а меня пошти всю ноченьку мутузил! Почему вчера воды не натаскали в бак, га?! Дома ни капли воды, а им – этой дурнатой – игрушками им играть понадобилось... А я за их, паразитов, стока тумачков понаполучала!..

Когда они подняли жуткий рев сначала в три голоса, затем за компанию присоединился и Павлик, нервы разгневанной мамы сдали окончательно:

– Та шоб вы все повыздыхали!! – отчаянно вскрикнула она, и, с силой хлопнув дверью, ушла на работу.

Ольку трясло и колотило крупной дрожью, боль казалась невыносимой, а перед глазами только и знали – мелькали полыхающие в печке ни в чем не повинные, зовущие на помощь игрушки... И Анькина кукла... И Толькин мячик... И ее зайчик... И она содрогалась, вспоминая распухшее, такое жалкое и одновременно хищное лицо мамы с почти что черным синяком под глазом...

После внезапного и безжалостного акта аутодафе они, еще не до конца пережив трагедию, продолжали понуро слоняться по избе, а в солнечную погоду, вечно чумадые, угрюмые, словно зверьки у норы, копошились у своей калитки.

И немало еще времени пройдет, пока не притупится боль от столь горькой утраты. Долгие месяцы Оля тосковала по зайчику, скорбела по кукле и мячику и часто горько плакала, а старшие, как могли, успокаивали ее:

– Не ной! И без тебя тошно! – говорила сестра.

– Точно! Разнылась, как маленькая! Их всех теперь все равно не вернешь... – резонно замечал Толик.

А она, размазывая по чумазым щекам слезы, рыдала только горше:

– Да им же бо-ольно бы-ыло... М-аа-аа-аа...

Давным-давно, еще прошлой зимой, пока родители были на работе, а маленький Павлик мирно спал, в честь начавшихся у Аньки зимних каникул, старшие отправились на речку и взяли с собой Ольку, потому что она, на их взгляд, вела себя в тот день лучше некуда, не ныла и была, в общем-то, пай-девочкой.

Вместе с детворой они съезжали на чьих-то огромных самодельных санках с высокого крутого берега по установленной их хозяином очереди. Когда настал Олькин черед, уже с самого начала непослушные полозья под ней заюлили и, на бешеной скорости скатившись к реке, врезались в прорубь. Слетев с санок, она покатила на животе, сдирая голые ладошки о шершавый лед, и вскоре угодила в другую, оказавшуюся на пути лунку...

Спас ее тогда обычный с виду мальчик лет двенадцати. Разве что уши его шапки-ушанки были завязаны не на макушке, как у других ребят, а почему-то сзади – на шее. Вытащив Ольку из проруби, мальчишка, в самом прямом смысле мгновенно исчез – не просто растворился в толпе детей, а совсем пропал, словно провалился сквозь землю, точнее – сквозь лед...

Родителям об этом приключении они договорились не рассказывать, потому как гарантии, что те отпустят их на речку в следующий раз, у них не было.

Мокрую Олькину одежду Анька с Толькой отжали, как только могли и закинули на верх «голландки», но сухой в доме не нашлось, потому как таковая, по сути, отсутствовала. Так, голышом, укутавшись в свое зеленое одеяло с обглоданным уголком, Оля сидела на топчане и долго не могла согреться, а когда она начала стучать зубами и икать, все ее окружили и сами смеялись до икоты, пока не пришла мама:

– А че это так холодно у хати? Опять дверь нараспашку была, га? Канешна, вон плита уже, как лед. Шо топила утром, шо не топила, ети вашу мать. Несите дровишки та уголь, быстренько! – распорядилась она, принявшись выгребать из печи золу.

– Ма, а зачем вы на работу ходили, а? – выпалила Анька первое, что пришло на ум – Ведь каникулы же...

– А хто за вами будет тот срач убирать, после той чёртовой Ёлки?! Дед Мороз?

– А-а...

– Бэ-э! Сёдня, вон, вапще всех учителей повызывали: пацан с пятого класса в проруби утонул...

– Как утонул? Прямо насмерть?! – спросил ошарашенный новостью Толька.

– А то... Теперь, рази, када лед растаит, може, тада тока и найдут его... если, канешна, рыбы до весны не сожрут. До пятого класса мать растила его растила... кормила, поила, обувала, одевала, у школу отправляла... А он – учудил, твою мать. Не удумайте вы потащицца на ту проклятую речку! Узнаю – убью паразитов!!

У Ольки за перегородкой перехватило дыхание... И едва она подала знак Павлику, чтобы он не проболтался об их преступлении, как мама зачем-то потянулась на верхнюю часть печи, и... обнаружила насквозь промокшую Олькину одежду.

Попало, конечно же, всем троим. Но Ольке было больнее всех, потому что, как только мама сорвала с нее одеяло, она была нагишом...

После этого происшествия заманить на речку Ольку ни зимой, ни летом, ни под каким предлогом больше никому не удавалось: слишком уж неприятными были ее воспоминания, связанные как с беспомощным барахтаньем в проруби, так и со всеми вытекающими из этого последствиями.

Хотя, разве что однажды, ранней весной, брат с сестрой вновь потащили Ольку к реке, но не кататься, а смотреть ледоход – следствие наводнения. Увиденный своими глазами весь ужас разбушевавшейся накануне стихии Ольку чрезвычайно потряс. И потом, на протяжении нескольких лет, она нередко просыпалась среди ночи от только что увиденного кошмара, в котором фигурировали собака, корова и теленок – несчастные жертвы пробудившейся от зимнего сна Жабайки. Словно наяву Оля видела, как на несущихся по разгневанной мутной реке льдинах безмолвно стояли беззащитные и беспомощные животные. Корова и собака с красноречивым, каким-то пугающим спокойствием смотрели на толпу зевак, но о помощи не просили, словно понимая, что уже обречены на смерть. На соседней льдине жалобно мычал,

напрасно пытаюсь подняться на дрожащие ноги, очевидно, накануне родившийся, напуганный теленок...

Олька тогда не на шутку разозлилась на реку, на зиму, на лед, и на всех взрослых людей за то, что они не спасают, а стоят на твердом берегу и просто смотрят на погибающих на их глазах животных... И еще там, на берегу, у нее началась настоящая истерика. Ни уговоры пытавшихся успокоить ее Аньки с Толиком, ни запугивания отцом, который, не вынося рев, как правило, хватался за ремень, не смогли остановить поток слез, бегущий из глаз младшей сестры. Ольке и самой тогда казалось, что даже если она сама сильно-пресильно захочет перестать плакать, остановиться уже не сможет никогда...

Придя домой, она еще какое-то время не реагировала ни на отца с ремнем, ни на мамину отчитку. Ей, вообще, все стало безразлично, и успокоиться было выше ее сил, потому что, если она даже закрывала глаза ладонями, перед мысленным взором вновь и вновь вставали корова с теленком и собака, а в голове билась только одна мысль: «Они же погибнут... Почему люди их не спасают?... Почему – наводнение?..»

Следующее происшествие, по сравнению с трагедией на реке, расценивалось ею впоследствии, как простое грустное приключение.

В три с небольшим года она потерялась в самом неожиданном месте. Вернее, ее забыли – в городской бане. В тот обычный субботний день, точнее вечер, мама с Анькой пошли мыться первыми, а Тольке с Олькой велели раздеваться и подождать в предбаннике, пока они с Анькой не дождутся свободных тазов, не наберут воду и не позовут их. Послушно выполнив первую часть задания, Толька с Олькой покорно сидели голышом в углу на лавке, ожидая вызова. Вскоре беспокойно ерзающему Тольке надоело рассматривать шмыгающих туда-сюда, маячащих то и дело перед глазами голых тетенок, и он увлекся изучением своих конечностей. Растопырив пальцы ног, он сначала безмерно удивился, а потом, показывая Ольке на скопившуюся у него между пальчиками грязь, не без гордости сказал:

– Смотри, у меня сколько! А ну-ка, у тебя-а?

Обнаружив гораздо меньшее, нежели у брата, количество грязи, о существовании которой она раньше и не подозревала, Олька страшно огорчилась, и, выпятив нижнюю губу, с обиженным видом отвернулась, явно намереваясь разрыдаться.

– Не вздумай зареветь, а то мама сейчас ка-ак выйдет... Знаешь, как больно по голой жопе? – нахмутив брови, назидательным тоном произнес старший брат, вытирая тыльной стороной ладони появляющуюся в момент разглядывания обнаруженного «клада» слюну.

– Ну, я же тоже... Я тоже хочу, чтобы... столько грязьки было... – пролепетала Олька, подняв на него скорбные, уже переполненные слезами отчаяния глаза.

Только лицо вновь приобрело торжествующее выражение и, казалось, он уже не в силах был оторвать восторженный взгляд от своих ног.

– Хм, да я и сам не знаю, почему у меня больше, чем у тебя... – намеренно озадаченно произнес он и, втянув в себя мощный поток слюны, попытался хоть как-то утешить сестренку – Ну хочешь... Ну, давай, вместе будем копить, м?

– А как мы накопим, если мама сейчас возьмет и всё смоеет? – размазывая слезы, с горечью ответила Олька, искоса поглядывая на брата, продолжающего любоваться своим потрясающим обнаружением.

– Фи-и... Да мы... Мы это... А мы на той неделе еще подкопим! Да ты просто теперь зажимай пальцы, когда она будет мыть, и – всё! Я же... и я теперь тоже буду зажимать.

– М-гм... – наконец, облегченно выдохнула Олька, с нескрываемой завистью поглядывая на «необыкновенные сокровища» старшего брата.

По обычаю, как самую младшую (новорожденного Павлика купали еще дома в корыте), мама искупала Ольку самой первой, велела одеться и ожидать их в холле на скамейке неподалеку от окошка с надписью «КАССА».

После купания Ольку настолько разморило, что она погрузилась в крепкий здоровый сон, и пробудиться ее заставил лишь громогласный крик банщицы в совершенно опустевшем холле с невероятной акустикой:

– Э-э-эй! А ну-ка, просыпайся! Ты, вообще, чья?!

– Мамина... – промолвила еще полусонная Олька.

– Ну и где же ты, мамина, живешь? – приблизившись к Ольке, сурово спросила банщица.

– Возле школы...

– «Мэ-мэ-нэ!... Вэ-злэ шкэ-лэ!...», – выпячивая язык, грубо передразнила ее злая тетка и уже нормальным тоном продолжила, – и кто же это тебя забыл-то? Хм, интересно: все бабы уже, вроде как, разошлись давным-давно...

Постояв с минуту, она с озабоченным видом направилась в сторону женского отделения:

– Господи-и-и... И откуда ты только взялася на мою башку? Та еще и в самом конце смены?! Вот щас кассу сдам, да как закрою тебя тут одну, а сама домой поеду...

Не дослушав монолог банщицы, Олька окончательно проснулась и ее слишком ранимое и впечатлительное сердце тревожно заколотилось. Она почувствовала щемящую боль и обиду на то, что старших мама, почему-то, не забыла, а забыла только ее... Именно ее. Одну только ее. И никому то она не нужна... И теперь ей придется жить всю оставшуюся жизнь в этой чертовой бане, с этой злоущей и толстой теткой... С этими мыслями она рванула из бани и помчалась, что есть сил, куда только глаза глядят.

На улице было уже достаточно темно, никто из редких прохожих ею, в общем-то, не интересовался, и она не заметила, как оказалась сначала в глухом и темном городском парке, который горожане привыкли называть «горсадом», а затем, пробежав еще немного – на крутом берегу реки с лунной дорожкой на воде.

Испугавшись, что это и есть именно тот край света, упоминаемый так часто мамой, особенно в случае, если речь заходила о Муйнаке, Олька вновь дико завопила, и сломя голову бросилась в обратную сторону. Лишь выбежав из парка, проносясь вдоль чугунного забора по кое-где освещенному тротуару, она вдруг почувствовала, как ее схватила за рукав женщина то ли в милицейской, то ли в железнодорожной форме:

– А ну, стой! Тих-тих-тих... – она взяла Ольку за плечи и легонько встряхнула. – Так... Ти-хо! Да не ори же ты так, Господи! Ты, что, потерялась?..

– Нет... Меня... Меня они... Они забы-ы-ли меня-а... – с невероятной горечью промолвила сквозь рыдания Олька, и по ее распухшему лицу, теперь уже в три ручья, полились слезы.

– Где забыли?..

– В... В ба-а-ане! – надрывно рвалось из ее груди.

– Так, давай по порядку: кто тебя забыл?

– М-мама! И То-о-олька с... с А-а-анькой...

– А, как ты аж здесь-то оказалась? А ну, пойдем в баню! – взяв Ольку за руку, женщина решительно двинулась по направлению к единственной в городе общественной бане.

– Там... там их... уже не-ету! Там одна только злая а-а-а-а... – Едва успевая семенить за «милиционершей», тянущей ее за руку, продолжала паниковать Олька.

– Ну, кто-то да остался же там, в самом-то деле. Пошли, пошли-и! Сейчас мы все выясним, и мамку твою найдем. Тебя как зовут-то?..

– Не скажу-у-у...

– Эт-то еще почему?

– Пото... потому что... меня забы-ы-ли-и!!

Пока неожиданная спасительница, сетуя на забывчивых родителей, оживленно беседовала с банщицей о том, как ребенок мог улизнуть из-под носа последней, в баню, наконец, ворвалась запыхавшаяся и разъяренная мама. И Олькины горькие страдания, не так уж и бес-

следно, конечно, но таки закончились. Отчаянно колошматя Ольку по чему придется, мама наорала на обеих, почему-то внезапно потерявших дар речи теток. Потом схватила полуживую от страха дочь за руку, и вместе с ней галопом понеслась домой.

– Ну, зараза такая! Ну, придем домой – высыплю тебе батиной ремняжкой солдатской! Чум-ма ты болотная!! Заставила мать, зараза такая, по ночам такую далищу бегать аж два раза у эту чёртову баню! – всю дорогу отчитывала бедолагу мама.

А Олька, держась за мамину теплую и вдруг ставшую еще более родной руку, уже не плакала, а, почти счастливая, думала лишь о том, что как хорошо, что она нашлась.

На подходе к дому мама строго наказала не рассказывать отцу о приключившемся. И Олька была бы рада не только не рассказывать, а навсегда забыть этот печальный случай, если бы Анька с Толькой еще несколько месяцев подряд не дразнили ее «потеряхой», высунув язык, да приговаривая:

– Лучше бы мама не вернулась тогда за тобой в баню! Лучше бы тебя твои татары снова нашли и забрали! Потеряха! Потеряха! Бе-бе-бе, ме-ме-ме...

Глава III

Поскольку отец, ссылаясь по обычаю на длительные командировки, бывал дома редко, обязанности детей, как правило, распределяла мама. Например, Анькиным послушанием было ежедневное выстаивание возле магазина, находившегося на самой окраине, сначала дожидаясь приезда «хлебовозки», а затем и своей очереди у заветного маленького окошка, открытие которого, зачастую в течение всего светового дня, терпеливо ожидала толпа.

В один из таких дней Аньку едва не раздавили очередники, когда она в давке упала, потеряв сознание. По правде говоря, она не помнила, кто, когда и как привел ее в чувство, потому как очнувшись она уже лежала на каких-то ящиках внутри магазина. Зато продавщица сразу подобрела и, хотя и втайне от очереди, но сполна компенсировала ей это «приключение»: вместо одной буханки выдала целых две. Анька тогда до самого дома бежала без оглядки, опасаясь, что кто-нибудь из очередников догонит и отберет вторую буханку.

А немногим позднее Аньку в очереди «чуть не заклевали злые тётки». Сначала они наорали на нее, что, дескать, она где-то носилась и не стояла терпеливо, как они, а когда хлеб, наконец, привезли, они и вовсе прогнали ее из магазина. Поэтому на следующий день в качестве группы поддержки, Анька впервые в жизни взяла с собой Ольку.

Приблизившись к магазину, первым делом Оляка внимательно осмотрела носы очередников, и, не обнаружив ни у кого из них клюва, облегченно вздохнула: «Значит сегодня пришли только добрые – не клевающие! А бесклювым ведь клеваться нечем!»

Бывало, что заветное окошко вовсе не открывалось, потому что машина с хлебом, по каким-то там причинам, вообще не приезжала к магазину. Зато счастью не было предела, когда после разгрузки хлебовозки за дощатым окошком сначала слышалось, как засов отпирали, а затем появлялись ловкие руки продавщицы, мгновенно принимающие деньги и выдающие заветную буханку. Было очевидным, что подавать в окошко деньги со сдачей никому и в голову не приходило. Ведь никому не хотелось быть заклеванным толпой только за то, что в течение целого дня не удосужился подготовить шестнадцать копеек и тем самым задерживает очередной процесс, тем более что хлеб выдавали строго по одной буханке в одни руки.

Не менее серьезным испытанием было донести с противоположного конца города эту искушающую своим неповторимым, бьющим прямо в ноздри запахом, буханку, и ни разу, на протяжении всего пути, не откусить от нее. Анька, вероятно по мере взросления, уже научилась контролировать себя. Она несла хлеб словно сокровище, обхватив обеими руками, и, периодически с наслаждением вдыхая аппетитный аромат, ни разу за весь путь не вкушала ни кусочка, ни крошечки. Сестре она тоже давала понюхать буханку, заверяя ее, что запахом тоже можно на какое-то время насытиться. Оляка тогда не просто поверила сестре, но и убедилась в этом сама. Она была просто потрясена тем, что и в самом деле почти не стала ощущать голод. Особенно после того, как Анька по дороге домой рассказала историю о блокаде Ленинграда, которую их классу поведала учительница. Тогда была самая страшная в мире война, и жителям города, не каждый день и не всем, выдавали по крохотному кусочку хлеба, в результате чего от голода умерло великое множество людей...

Оляка шла и гордилась своей старшей сестрой, такой взрослой, такой выносливой и такой умной. Ей тогда страшно хотелось как можно быстрее стать такой же, как Анька, чтобы, в том числе, научиться так же быстро ходить и одновременно при ходьбе сопеть.

В обязанности Тольки с Олькой входило присматривать за Павликом и собирать на улице установленную мамой норму коровьих лепешек под романтическим названием «кизяк», предназначенных для случаев, когда заканчивались и дрова и уголь, и топить печку было совсем уже нечем. До прихода с работы мамы им в основном следовало подмести пол, вымыть посуду,

вынести золу и принести кизяк или дровишки с углем, очистить картошку и наносить с колонки в бак воды.

Ближайшая колонка от их дома находилась, по правде говоря, не так уж близко, и особенно проблематично они добирались за водой весной и осенью, когда на улице была непролазная грязь. Впрочем, и зимой, когда неделями напролет на дворе бушевала пурга или стояли трескучие морозы, их задача не облегчалась. Олькина детская память навсегда зафиксировала и подпоясанную ситцевым платком, чтобы не поддувало, мамину, согревающую полудошку* доходившую ей аккурат до пят, и гору льда у колонки, из-за которой им с братом не всегда удавалось набрать воды, не расплескав ее, или не разбив до крови нос или губу. А дом у колонки, самый красивый на свете, с деревянной ажурной

**Полудошка (разг.) – плюшевая женская демисезонная удлиненная куртка (полупальто) на ватной подкладке. В 1960-е полудошка – доступная распространенная женская одежда для низших слоев населения.*

голубой калиткой и такими же ставнями, запомнился ей особенно...

Резные ставни в этом доме были всегда гостеприимно распахнуты, большие окна сияли чистотой, а красивые занавески казались уютными и по-настоящему домашними. С наступлением сумерек эти окна светились необычайно мягким светом, и казалось, что там, за стеклами, живут самые добрые на свете хозяева; там непременно тепло, тихо, приятно пахнет едой и никогда не воняет плесенью, сырой глиной, печной гарью, мышами и прокисшими помоями.

Однажды из калитки этого дома, в наброшенной на плечи пуховой шали, вышла молодая, необычайно красивая женщина.словно добрая волшебница из сказки, она с улыбкой подошла к оторопевшим Тольке с Олькой. Одобрительно взглянув на Толькины варежки, она перевела взгляд на побагровевшие от мороза Олькины руки и укоризненно покачала головой. Тихо и ласково произнесла что-то по-немецки, «волшебница» бережно растерла заledenевшие Олькины пальчики своими нежными и теплыми руками, а затем надела на них голубые с белой каемочкой, невероятно теплые пуховые варежки.

На обратном пути Ольке первой удалось обрести дар речи:

– Когда я вырасту, я тоже стану такой же, как она, да, Толь? Ну, скажи же, Толик, да же ведь?

– Ну, да, да. А я... А я тогда стану, как дядя Валера... Таким же большим и таким же умным.

– Ага!! И таким же добрым, давай?!

– Ну да... – кивнул Толька, нахмурив для солидности брови.

– Вот здорово!!.. И мы с тобой будем возле всех колонок всем раздавать теплые варежки, да же?!

– Ну... только у кого их не будет. Чтобы по честному.

– И мячиков накупим, и...И зайчиков много-много!! И кукол!!

– И гематогена! И мороженого в вафлевой корочке, да?!

– Да!! И всего-всего... чего-нибудь еще, да же, Толь?!!

– Да! Только поскорей бы нам вырасти, да же ведь?

– М-гм...

Поскольку варежки оказались двойными, мама разрешила их на две части, и получилось аж четыре варежки сразу. Затем, дабы они не потерялись, она к каждой паре варежек пришила соединяющую веревочку, и они сослужили добрую службу, по крайней мере, еще две суровые зимы, не только Ольке, но и Павлику.

В один из вечеров, когда Толька с Олькой, припозднившись, пришли за водой в очередной раз, в крайнем окне этого почти сказочного дома загорелся свет, и за прозрачной тюлевой занавеской Ольга вдруг увидела наряженную елку. Игрушки на ней переливались всеми цве-

тами радуги, и она просто оторопела от невиданного дива. Кивнув Тольке в сторону окна, она словно замороженная пошла по направлению к дому, и в метре от забора неожиданно застряла по пояс в сугробе, откуда Толька ее едва вытащил.

– Давай быстрее, а то снег в валенках растает, они станут совсем мокрыми и опять попадет от мамы, – поочередно вытряхивая снег из валенок, как обычно, назидательно говорил брат.

– А ты веришь, что я... ну, что в том окне я видела блестящую елку, а? Или ты сам ее тоже видел? А, Толь, видел? Ну скажи же...

– Да не успел, блин! Пока набиралась вода, пока отставил ведро, а они взяли и закрыли ставни.

– М-м. А я... – виновато опустив ресницы, вздохнула сестра и шепотом добавила, – знаешь, как краси-иво...

– Да ну, в домах елок не бывает. Мама с Анькой же говорили, что елку наряжают только в школе, один раз в году, и то – только зимой перед каникулами. Да еще берут завхоза и наряжают его Дедом Морозом. И, кто из детей споет ему песенку или расскажет стишок, тому он из мешка выдает конфеты и игрушки там всякие...

– А они, что ли, не догадываются, что это завхоз? – изумилась Олька.

– Не-а. Мама и то случайно увидела, когда ему в учительской бороду из ваты приклеивали. А так бы и мы не знали, что они так всех дурят.

– Так он же злой, как черт!

– Кто?

– Да завхоз же! Помнишь, мама говорила, что он всегда орёт, как черт, на уборщиц, да вообще и на всех, кроме директора?

– Ну и что, что злой... А, может, он злой из-за того, что его директор каждый день заставляет работать и завхозом и Дедом Морозом.

– Нетушки, настоящий Дед Мороз должен быть добрым.

– Откуда ты знаешь-то? – скептически изогнув бровь, усмехнулся старший брат.

– Знаю и все... Чую!

– Вот я – знаю, что настоящего Деда Мороза вообще не бывает!

– А вот и бывает!!

– А я говорю – не бывает! Мама же говорила, что в школе на Новый Год только дурнотой занимаются, чтобы всех обдурить. И ты, как дура, тоже веришь, ха-га-га-а...

– Если настоящий Ангел есть, значит и настоящий Дед Мороз тоже есть!

– Да Дед Мороз только в сказках бывает!

– Да если бы сказки были плохие, тогда бы и книжек со сказками бы не было! – запальчиво воскликнула Олька.

– И все равно настоящего Деда Мороза не бывает! – все сильнее хмуря брови, упрямылся Толик.

– И фигурки! А, может, это Ангел один раз зимой превращается в Деда Мороза и разносит ночью людям такие красивые елки? Жалко, что ты не успел увидеть ихнюю блестящую елку...

– Да тебе она просто показалась, а ты только зря радуешься.

– И ни че не показалось, а я своими глазами видела!

– А я говорю – показалось! И баба Ариша говорит – когда кажется, надо креститься, – засмеялся Толька.

– А давай... А если не показалось, то давай, когда мы вырастем, у нас тоже будет зимой такая же, но только своя елка, м, давай, Толь, а?

– Ну и где мы ее возьмем?

– В лесу срубим. Елки ведь в лесу растут. – Рассудительно заметила сестра.

– А где мы лес найдем?
– Мы спросим у них, где они взяли.
– У кого?
– Да у этой же тетеньки, которая варежки мне дала... О, варежки же настоящие, значит и елка у них тоже настоящая!
– А игрушки блестящие тогда где возьмем?
– Тоже у нее спросим. Ну, давай, Толик, а?
– Ладно, давай. Только, чур, ты сама будешь спрашивать!
– М-гм...
– Здоровски, я даже не заметил, как мы быстро дошли, а ты? – отворяя калитку, сказал Толька.

– И я-а... И у меня в валенках снег по-правдешнему превратился в воду, – засмеялась Олька.– Поэтому они потяжелели же, да?
– Надо было нам получше выковырять из них снег.
– А давай, мы их – на печку, и мама не увидит, пока они там сохнут, м?
– Только я сам их закину, потому что ты не докинешь. Я же старше тебя.
– М-гм.

Зимой их избушку обычно заметало снегом по самую крышу, и Толик с Олькой помогали отцу убирать снег в образовавшемся от входа до калитки за зиму тоннеле. А в его отсутствие они самостоятельно счищали снег с крыши отцовской совковой лопатой, которую тот почему-то называл не иначе, как «грабарка». Покончив со снегом на крыше, они, преодолевая невероятный страх головокружительной, как им казалось, высоты, пока не стемнеет, прыгали, с нее в большущий сугроб. Они не сомневались, что, только преодолевая страх, они станут смелыми, а значит, быстрее повзрослеют и станут сильными, умными и непременно добрыми.

В один из вечеров они с Толькой, опасаясь, что не успеют к приходу мамы очистить картошку, разделили ее поровну и стали соревноваться, кто быстрее выполнит свою норму. Тогда уже почти пятилетняя Олька проиграла брату, отстав аж на восемь неочищенных картофелин. Она страшно разозлилась и на затупленный ножик, и на себя, неумеху, и ей стало ужасно стыдно перед братом оттого, что, будучи девчонкой, проиграла в кухонном конкурсе, да еще и с таким позорным отрывом. И она тряслась в ожидании часа возмездия, когда старшие, высунув язык, начнут обзывать ее лентяйкой и копухой.

Но последствия были куда прозаичнее: на вопрос мамы, кто из них клал очищенную картошку в бидончик, а кто в миску, Толик, не моргнув глазом и даже не покраснев, соврал, что он бросал «свою» только в миску. Как оказалось, в бидончике почти все картофелины были очищены только наполовину и лежали нетронутой ножом стороной книзу...

У Ольки, по обыкновению, мгновенно навернулись слезы, ибо теперь чувство стыда сменилось ноющей болью от жгучей обиды за несправедливость, которая, казалось, ничуть не трогала ни маму, ни Аньку, ни самого проказника – старшего брата. Она лишь уединенно плакала, жестоко страдая и бессильно злясь на своих близких, и не знала, где ей искать утешения. Так уж было принято в их семье: не можешь сам за себя постоять – не надейся на сочувствие, поддержку, и тем более на защиту, даже если ты младшая. Потому и не жаловалась она родителям, бесконечно боясь их, особенно во гневе... Во время ссор разбушевавшихся в очередной раз родителей или брата с сестрой, она, не желая попасться им под горячую руку, забивалась под топчан, и, крепко закрыв глаза и уши, ждала, когда они утихомятятся, каждый раз опасаясь, что последствия военных действий будут весьма плачевны.

В домашних конфликтах в большей степени Ольку угнетало то, что у мамы не получалось заставить своих старших зарыть топор войны, потому как ее реакция на их жалобы друг на дружку лишь подливала масла в огонь. К примеру, Толька родился с особой приметой – на фоне его темно русых волос выделялось светлое круглое пятнышко на затылке, которое

почему-то часто не давало покоя старшей сестре. И, всякий раз после очередной ссоры с Анькой (благо поводов для этого у них было предостаточно), Толька с ревом подбегал к маме:

– Ма-а-а-а! Анька опять меня обозвала «бычок с белым пятнышком»! А-а-а-ааа...

– А ты обзови ее ссыкухой! Вон, всю постель перессала, паразитка! Как ты у школу то пойдешь, га, зассанка такая?! С тобой жеш никто за партою сидеть не будет – провонялася вся! – незамедлительно отзывалась та, не отвлекаясь от какого-нибудь дела.

Далее почти всегда следовала братоубийственная драка с выдиранием ключев волос, да разбиванием губ и носов до крови. А заканчивалось все тем, что мама бралась за веник, башмак или отцовский солдатский ремень, словом, за все, что ей попадалось под руку, и в сердцах приговаривала:

– Та как жеш вы осточертели, паразиты! Щас как приедет батя, он вам покажет, де раки зимуют!

На этом, как правило, ее роль миротворца заканчивалась.

Кого-кого, а батю, даже без ремня, дети боялись как огня – боялись по-настоящему, боялись больше всего на свете...

Что голод – не тетка, они были давно в курсе, потому как есть им хотелось всегда. Но, как бы там ни было, моментов, связанных с едой, оставивших неприятный осадок, в их детской памяти сохранилось сравнительно немного: к примеру, как они летом сначала в своем огороде объелись паслёна, а когда не хватило – забрались в соседний, и как страшно потом болели у них животы и прохватил понос. Еще, как мама тайком собирала жир с помоев, принесенных из школьной столовой и жарила на нем картошку на ужин... Да, пожалуй, еще, как по инициативе Аньки они однажды вчетвером отправились к бабе Арише в надежде на то, что та, несказанно обрадовавшись их визиту, хоть краюхой хлеба, да угостит долгожданных, любимых внучат, пришедших навестить любимую бабушку, живущую в другом конце города...

– Олька, это же баба Ариша тебя так назвала-а?! – умнющая, но очень голодная Анька, явно, что-то замышляя, начала издали – Да она, она – я же знаю! Во-от... Значит, она тебя и до сих пор любит. Значит, и покормит нас всех, если мы все вместе придем к ней в гости вместе с тобой. Не будет же она одну тебя кормить? Мы же ведь тоже ее родные внучата... – логично заключила сестра.

Олька долго не соглашалась. Но Анька не сдавалась, тараторя без остановки, что она-де отлично помнит и то, как баба Ариша приезжала к ним в Муйначок на Пасху, и как она накормила всех вкуснятиной, и как велела всем называть Ольку Ольгой, вместо Маньки да Кланьки. А когда Анька вспомнила слова бабы Ариши о том, что к ним именно в тот день, когда родилась младшая сестра, прилетал настоящий Ангел, Олька сдалась и окончательно поддалась уговорам.

– Так! Только вы двое, – запирая за собой калитку, Анька кивнула на крепко взявшихся за руки Ольку с Павликом, – смотрите, маме не насексотьте, что мы ходили без спроса, а то нам с Толиком больше всех попадёт из-за вас. – И, возглавив сколоченный отряд, сестра гордо зашагала вперед.

Ничего не подозревающая, мило беседующая на крыльце с соседками баба Ариша, едва завидев приближающийся выстроенный по росту до боли знакомый выводок, застыла на полуслове и заметно напряглась. В тот день она явно пребывала в не очень хорошем расположении духа, и при встрече с внуками особой радости не проявила:

– О-о! Тильки подывытэся, хто ж це до мэнэ заявивсь...

– Здра-асьте... баба... Здрасьте... – не теряя надежды растопить сердце, такой неприветливой сегодня бабушки, наперебой поздоровались внуки.

– А ваш батько мэни вугилля привиз? Це вин прыслав вас, чи матэ?

– Да мы, это... ну, просто... п-проведать вас... – с жалкой улыбкой пробормотала Анька, втягивая голову в плечи.

Бабушка обвела непрошенных гостей недоуменным взглядом, а затем, будто мгновенно что-то поняв, уперла руки в боки и начала:

– Та хйба ж вам нэ стыдно, га? Та в мэнэ у самой бо ничего нэма исты...

В этот момент, синхронно закачав головами, как китайские болванчики, подключилась группа бабы Аришиной поддержки:

– Ай-я-яй-я-я-яй! Да ваша бабушка сама с воды на хлеб перебивается, а они – явились... Ну эти-то еще, ладно – маленькие, а Анька-то, Анька... ты же такая здоровая дылда уже, га! Нет, чтобы бабушке прибежать чего-то помочь, а она сама пришла, да еще и весь выводок привела – покорми нас, дескать, баба Ариша, да? И че вы все чумазые то такие, га? Ну ни какого стыда...

Так Олька впервые, что называется «на собственной шкуре» ощутила ни с чем несравнимые стыд и унижение. Хотя о существовании последнего, и тем более о его смысловом значении она вряд ли тогда догадывалась; зато не было сомнений насчет того, что теперь-то она достаточно точно и навсегда усвоила значение этого страшного слова «стыд».

Именно с той поры она и невзлюбила ходить к кому бы то ни было в гости по какому бы то ни было поводу, какими бы настойчивыми ни были уговоры приглашающей стороны.

Слух о позорном походе к бабе Арише, не без помощи «группы поддержки» почти молниеносно долетел до мамы, в результате чего не замедлил быть не менее запоминающийся допрос с пристрастием. А за то, что во время допроса Олька проболталась об истинной причине похода к бабе Арише, Анька с Толькой еще долгое время будут обзывать ее самым обидным и страшным словом на свете – «предательница»...

Хотя, по прошествии пару-тройку недель, те самые бабушкины приятельницы, «сплетницы, такие же, как и сама ваша дорогая баба Ариша», как обычно отзывалась о них мама, сослужили однажды очень даже неплохую службу.

Мама тогда с двухгодовалым Павликом, заболевшим пневмонией, находилась в больнице, а отец, как назло, чересчур долго не появлялся дома. Оставшимся троим членам семьи тогда особенно, можно сказать, как никогда, хотелось хоть чего-нибудь подержать во рту. О том, чтобы перекусить, они и мечтать не смели. Но еды в доме не было совсем... Тогда-то бабушкины соседки и совершили почти нереальный поступок: прознав, что дети одни сидят дома голодные, они каким-то чудесным образом разыскали отца семейства и заманили его к бабе Арише, которая задала сыну «хорошу прочуханку, щоб нэ бросав голодных дитэй». После чего отец, мгновенно «вспомнив» об отпрысках, примчался домой и, впервые в жизни, самостоятельно сварил суп. Вернее, не суп, а почти щи, потому что кроме картошки в воде плавала еще и квашенная капуста.

Для порядком изголодавшейся ребятни это была самая вкусная еда на свете. Они по несколько раз просили у отца добавку, и когда кастрюля совсем опустела, дочиста вылизали миски. Глядя на это, растроганный отец, улыбаясь, промолвил:

– О-от, теперь и миски мыть о то не надо... Усю кастрюлю смолотили! Ну, наелись-то, хоть?

– Да-а-а!!! Спасибо папе! Спасибо маме! Спасибо Боженьке! – весело прокричали некогда рекомендованную им бабой Аришей присказку насытившиеся чада.

Для полного счастья, в завершение такого, внезапно свалившегося на них праздника, отец впервые в жизни повел их в настоящее фотоателье.

На семейном фотоснимке они навсегда останутся запечатлены так, как расставил их фотограф: нахмуренные Анька с Толиком – по краям от Ольки, испуганно стоявшей на детском стульчике в разных по размеру, судя по отворотам, валенках, а за ними – отец, довольный, и в кои-то веки, радостно улыбающийся...

Однажды вновь подобревшая баба Ариша вылечила Ольке аж две болячки сразу.

Мама тогда очередной раз находилась в больнице с Павликом, вновь захворавшим пневмонией, отец, как всегда, был в командировке, а старшие уже оба ходили в школу. Олька осталась совершенно одна. Она лежала на топчане, изнемогая от боли, которую ей причиняла набухшая под левой подмышкой огромная шишка. Ужесточал ее страдания гнойный нарыв, непонятно отчего образовавшийся под ногтем большого пальца этой же руки. И, вообще, все ее тело, в особенности левая сторона, болело так, что она уже несколько дней и ночей подряд не могла ни спать, ни есть. Даже плакать у нее не было больше сил. А может, она уже выплакала все слезы, когда только начинала болеть: «Это меня Боженька наказал за то, что я тогда Зайчика не спрятала... за то, что проспала, когда он горел в печке... И ему было в сто раз больнее, чем мне сейчас... Прости меня, Зайчик... Прости меня, Боженька, за него...» – причитала она под одеялом. Иногда ей очень хотелось пить, но в тот момент как назло никого не оказывалось рядом.

Для Ольки так и останется загадкой, каким таким чудом в этот, не самый легкий для нее период, дома вдруг появилась баба Ариша и склонилась над ней. Несмотря на полуобморочное состояние и жар, в ее памяти навсегда сохранится такое родное, такое доброе-предоброе бабушкино лицо, освещенное тусклым мерцанием свечного огарка, ее крестные знамена и что-то без конца шепчущие губы. И уже после самого первого прихода бабушки Ольке стало легче, а вскоре она совсем пошла на поправку.

Не менее удивительными будут и последующие внезапные появления бабы Ариши: когда, к примеру, бабушка, словно чувствуя беду за тысячу верст, и понимая, что кроме нее совершенно некому помочь, вдруг приходила и исцеляла то дикую зубную боль (причем, не только у Ольки), то безнадежно запущенную свинку, то целую серию чирьев, в напоминание которых у Ольки останутся лишь крохотные, едва заметные шрамы. Но это будет позднее, спустя несколько лет. А пока...

...Как-то раз мама забыла взять с собой на работу ключ от сундука, в котором хранился мешочек с рафинированным сахаром. И, воспользовавшись ее отсутствием, Анька тайком вытаскала лакомство и сама не заметила, как съела почти все.

Отцовским солдатским ремнем досталось в тот злополучный вечер, конечно же, всем троим. Но Толька с Олькой, не имевшие ровно никакого отношения к пропавшему сахару, как настоящие партизаны, не проронили ни единого слова. Во время этой иезуитской пытки они лишь, стиснув зубы, сопели, тарасили глаза на мелькавший ремень и со смирением первых христианских мучеников, мужественно принимали каждый удар медной бляшки. Они не совсем еще понимали тогда, и почему не сказали суровому карателю о своей непричастности к преступлению, и почему так легко простили Аньке тот случай. Наверное, просто потому что любили свою старшую сестру.

В самый первый день своих законных летних каникул Анька с Толиком, выйдя во двор погулять, первым делом отобрали у соседского Аркашки горбушку белого хлеба с вдавленным в нее кусочком сахара. Аркашка, как и полагается, заплакал и побежал к своему дому, явно за подкреплением.

Услышав за забором рев Аркашки, в калитке появилась ничего не подозревающая Олька и, увидев в Анькиной руке хлеб с сахаром, попросила немного откусить, но Анька, почему-то, позволяла откусывать лишь Тольке:

– Вапще-то, подкидышам не положено давать! Уйди отцудова, татарма!.. Нам и самим мало...

– Ань, ну дай хотя бы только хлеба чуть-чуть... без сахара.

– А ты сначала попроси нормально!

– Аня, дай, пожалуйста... – попросила «нормально» Олька.

– Нет, не так! Скажи: «Дай мне!»

– Дай мне...

– А-а-а-га-га! Рука в говне! Вымой руку – тогда дам! – Анька заливалась смехом, пока сахар, с оставшейся уже половинкой горбушки, не упал прямо на землю. Она мигом подобрала его, обдула и снова вложила в образовавшийся в хлебе оттиск.

Безудержный голод взял верх над Олькиной гордостью и она, спешно вымыв руки в ближайшей луже, вытерла их о подол и, предвкушая лакомство, снова подбежала к сестре:

– Вот. Смотри – я вымыла! Ну, только капельку... А, Ань? Дай...

– А ты скажи: «Дай ми-не».

– Дай мне... – собираясь вот-вот разрыдаться, промямлила Оля, явно не ожидавшая никакого подвоха.

– Га-га-га-а! – потешались они уже на пару с Толькой. – Так у тебя же рука в говне-е! Вымой руку – тогда дадим!

– Ну я же... вы... мыла...

В итоге Анька с Толькой заглотили добычу сами, а зареванную Ольку увела к себе во двор Аркашкина бабушка Ася:

– Аркашку, ладно, обидели, чего свою-то донимаете? Бисмилля...

– А она и не наша! А ее нам татары подбросили, а мама ее просто подобрала-а! Вот так-уш-ки!! – заявила Анька, высунув язык в след уводящей Ольку соседке.

– Побудь тут, пока эти шайтаны угомонятся, – сказала Аркашкина бабушка, заведя Ольку в свой двор, и продолжила хлопотать над растопкой самовара.

– Слыхала, что кричат эти бесенята? – повернулась она к подошедшей невестке.

– Ну, – ответила тетя Нэля, пристально разглядывая Ольку, – да она и правда больше на нас похожа, чем на них...

– Бисмилля... Болтаешь, чё попало... да еще и при ней. Отрежь вон лучше им с Аркашкой еще хлеба, у него же эти черти отобрали, – проворчала бабушка, кивнув в сторону забора, за которым все еще доносилось гоготание Олькиных родственников.

Ольку, и на самом деле, из всех детей в семье выделяли темные густые волнистые волосы, большие глаза, и безупречно чистая матовая кожа. Но это, скорее, потому, что в жилах их отца текла толика казаческой крови, а у матери – благородной польской, что, очевидно, в большей степени и сказалось на облике их младшей дочки. Зато всем четверым в наследство от предков достались очень выразительные глаза; разве что Олькины, темно-зеленые, почти карие, были чуть больше.

В соседском дворе Оля начала успокаиваться, абсолютно не придавая значения тому, что сидит она и сидит себе на корточках, покачиваясь, на трубе от самовара... А когда огонь был разожжен, и бабушке Асе понадобилось устанавливать злосчастную трубу, та и обнаружила ее под ногами Ольки, но только приплюснутую и теперь ни на что не пригодную.

– О-о?! А я её ишу... Ты... да ты, что натворила-то, а?! Да она же и так уже еле-еле... Бисмилля рахман рахим... Ах, ты, шайтанка эдакая!.. – хватаясь то за трубу, то за голову, вскричала Аркашкина бабушка.

– Ма-а-а-ма-а-а!... – Оля до полусмерти напуганная внезапным перевоплощением добрейшей бабушки в разгневанную, вооруженную сплюсненной трубой, злющую до умопомрачения бабу-ягу, с воплем рванула в сторону своего огорода.

Дома она забилась под топчан и, похоже, не собиралась выползть оттуда до конца всей своей ничтожной и никчемной жизни. Только здесь, в единственном укрытии, она смогла дать волю слезам, рыдая из-за постоянных неудач, вечно преследующих только ее одну. Но большее всего ей было принять ту горькую участь «подкидыша», о чем так часто упоминала её старшая сестра. Она плакала и злилась на весь белый свет, с ненавистью дубася себя по чему придется.

Разбудил ее жуткий холод. Спросонья пошарив рукой в надежде найти спасительное одеяло, она, наконец, поняла, что не заметила, как прямо здесь, под топчаном и уснула. Выбрав-

пшись из укрытия и оказавшись в крошечной тьме, она догадалась, что вся семья уже видит десятый сон. Со стороны родительского ложа доносился могучий храп отца, и от осознания того, что ее с вечера никто не кинулся, Ольке стало не просто страшно и одиноко, а только горше и больнее...

За завтраком брат с сестрой весело наперебой рассказывали родителям, как наемни за Олькой гонялась Аркашкина бабка с трубой от самовара. Отец, не отвлекаясь от тарелки с супом, промолчал, а мама, отрешенно окинув взглядом горемычную младшую, сказала:

– Чив-во это туда нашу дядину дуру черти понесли? Теперь будет знать, как шалацца по чужим дворам.

– Дядина дура! Дядина дура!... – злорадно торжествовали Толик с Анькой, пока отец не облизал свою ложку, не подошел к их столику и не треснул ею обоих по лбу.

С того дня Олька стала еще более усиленно мечтать поскорее вырасти, чтобы купить новую трубу для самовара для Аркашкиной бабушки, которая, в принципе, была доброй, и неплохо относилась к юной «шайтанке». Еще, конечно же, она купит целую машину сахара и хлеба, чтобы никто больше не жадничал, а значит и ни с кем не ссорился.

Случались в их беззаботной жизни и менее мрачные моменты, которые, правда, в большинстве случаев забавляли больше родителей.

Как-то теплым майским вечером мама, придя с работы, поделилась за ужином с отцом последними новостями с работы:

– Наши молоденькие учительницы де-то понакупляли себе к майским праздникам кофточки... э-э-э... кап... кап-роновые, вроде, называютца они. Откуда тока у людей стока денег на разную херню? Хм, и как тока их, голобоких, в этих кофтах милиция-то пустила на парад?

– Та не на «парад» о то, граматейка, а на «демонстрацию», – меланхолично поправил ее отец. – Скока тебе раз о то говорить?

– Та какая разница?!

– Та большая: потому, шо «парад» это – военный, када с техникой о то. Так, шо там о то за кофточки, говоришь? – поинтересовался он, нарезая хлеб.

– Та срамота одна!

Отец, приступивший к миске с борщом, стрельнул в маму веселым взглядом:

– Просвечивают так, чи шо?

– Если бы тока просвечивали... Как будто на их вапще ничего с одежды нету, ну! – насмешливо фыркнула она.

– Та не мели о то ерунду! Скока ежу- никада у таких кофточках ото баб не видал.

– Та потому шо ты видишь тока одни юбки... Говорю же, шо я своими глазами видала: будто тока одни черточки на руках, на пузе, та на шее! Как простым карандашом понарисованы: тут, тут и тут, – показала на себе мама. – И – всё на свети наружу – и лифчик и половина цецек – полюбуйтесь, мол... Щитай, шо голяком пришли сегодня у школу. Ни стыда, ни совести. Еще учительницы, бл... дь...

– Та не матерись же ш ты при детях, язви тебя!

– Ну, если диствительна... Вот ты бы пошел на работу голяком?! Посмотрела б я... – засмеялась мама, подливая отцу добавки.

– Та шо ж там за кофточки о таки, язви? Та не может того быть, шобы... Вреть – и глазом о то не моргнеть... – искренне удивленный и заинтересованный последним «писком моды» отец старался скрыть свое волнение.

– Он еще и не верит... – обиженно цыкнула мама. – Ну и не верь. Я же своими – вот этими очами видала, а не чужими.

Отец благодушно промолчал.

Что касается Толика с Олькой, которые оттопырив уши, слушали диалог родителей, то, судя по дальнейшим событиям, они поверили маме сразу.

На следующее же утро они, не сговариваясь, проснулись раньше обычного и первым делом дождались, когда отец и мама уйдут на работу, а Анька – в школу (Толька тогда в школу еще не ходил). Пока маленький Павлик еще мирно спал, брат и сестра активно принялись за осуществление возникшей у них с вечера идеи. Порыскав по жилищу в поиске простых карандашей и отыскав несколько огрызков, принесенных мамой из школы (благо, они ей часто попадались во время уборки классов), они вооружились любимым, «фимическим», и охваченные творческим азартом, принялись за работу. Сняв с себя всё до ниточки, периодически сляня химический карандаш, они рисовали каждый на своем теле сначала очертания «капроновых» кофточек с воротничками и пуговичками спереди, а далее их «гардероб» пополнялся гольфиками, носочками, трусиками – словом, всем тем, чего только могла на тот момент желать их душа. Заднюю часть каждого изделия индивидуального «пошива» юные модельеры уже дорисовывали друг дружке по очереди.

Вволю налюбовавшись результатом своего творчества, они, «экипированные» с головы до пят, задыхаясь от счастья оттого, что теперь и они являются счастливыми обладателями «капроновых» вещей – точно таких же, как у учительниц из школы, где обучается их старшая сестра и работает мама, с восторженным визгом запрыгали по комнате. Бурно резвясь, они даже не заметили, как проснулся Павлик, который почему-то не плакал, как обычно, после сна в поисках маминой «цыцки», а тихо сидел в кровати и наблюдал за разворачивающимися на его глазах событиями.

И вдруг Толику с Олькой захотелось поделиться этой, внезапно свалившейся на них радостью и со всем честным народом, и их волной вынесло на улицу, тем более, что на дворе уже стоял самый веселый месяц в году – зеленый благоухающий май. Оказавшись за калиткой, они ни на секунду не сомневались в том, что выглядят респектабельно и в свет выходят не в каких-нибудь там затрапезных вещах, и уж никак ни в том, в чем когда-то родила их мать, а именно в капроновых новинках.

Усевшись рядышком на лавочку и весело болтая ногами, они синими от химического карандаша ртами воодушевленно похвалялись перед прохожими своими «обновками».

– Это вот кофточка капроновая, видите – пуговички с воротничком? А это – гольфики... Да, это мама купила нам... вчера... в магазине. А это вот трусики и носочки... Всё капр-роновое, видите же, да? – Наперебой терпеливо объясняли они «заинтригованной» публике, что именно означает тот или иной штрих химического карандаша на их обнаженных телах.

– И где же, родимые, ваша мама сейчас, а? – едва сдерживая смех, опустив ведра с коромыслом, спросила какая-то совсем незнакомая женщина.

– А мы это... Да мы сами не знаем, в каком магазине она... ну, всё это понакупляла... – «отстреливался» Толька от назойливых «фанатов».

– И куда только родители смотрят? Вот где они шас? – прикрыв рукой улыбку, поинтересовался седобородый дед, уже ознакомившийся с «прикидом» детей.

– Да на работе они. Это все капр-роновое! – бойко отвечал Толька на до ужаса банальные вопросы публики. – Олька, скажи же!

– Да, вот... у нас тут... и тут – капроновые кофточки, маечки, гольфики... – бормотала Олька, любуясь собственным художеством.

– А не бойтесь, что... – начал было старик.

– Не-а!! Они еще не ско-оро придут!..– поспешил с ответом сообразительный Толик, не представляя деду шанса задать вопрос до конца.

Провал «премьеры» под названием «Адам и Ева в капроне» обеспечили, конечно же, учителя, потому как окна учительской выходили прямо на дом уборщицы школы. Разносчицы капроновой лихорадки сначала не без любопытства наблюдали из окна учительской за спектаклем сами, а затем подозвали и мать главных героев – уборщицу Катю...

Едва завидев маму, несущуюся через дорогу со шваброй в руке, «герои в капроне» мигом вскочили и, сверкая задницами, дали стрекоча. Влетев в дом, они, собственно, «в чем были», в том и забились в свое единственное укрытие – под свой топчан.

На сей раз, к их величайшему удивлению, порки все-таки избежать удалось, потому как ни старалась мама, она даже с помощью швабры не смогла вызволить из-под ложа ни одного из модников.

Позднее и вовсе выяснилось, что маму этот случай даже позабавил. Судя по тому, как она рассказывала о нем знакомым, было похоже, что особенно ее потрясла финальная часть сей «премьеры»:

– Эх, как они меня увида-али... И-и-их!!.. Как пососкочили с лавочки!.. И их, как, словно ветром сдуло!! Тока голые ж... в калитке и блыснули! – как всегда, эмоционально рассказывала мама, и с трудом подавляя смех, продолжала – Это потом уже смеху было, шо в учительской, шо на улице... Сама виноватая, шо рассказала тада за ужином на свою жеш голову про те капроновые кофточки, вот они и отчебучили...

Отец же любил рассказывать своим знакомым конфуз, произошедший с Анькой. Однажды она, разглядывая электрическую лампочку, вдруг поинтересовалась:

– Па, а чё это за такие маленькие точки на нашей лампочке, а?

– Шо такое? Та это ж её мухи, Аня, обосрала. От того и точки... «Шо, папа, за точки», язви, спрашует... – расхохотался отец, ответив на явно неожиданный вопрос старшей дочери.

А спустя пару-тройку дней отец приехал домой с родственником по бабушкиной линии – своим двоюродным дядькой Илькой, переболевшим еще по молодости оспой. Анька, разумеется, ни сном, ни духом не подозревала ни об этой болезни, ни о ее последствиях, посему и неудивительно, что ее, чересчур любопытную и наблюдательную, заинтересовали злополучные точки на лице родственника:

– Дядько Илько, а, дядько Илько... Э-э...

– А? Что, Анечка? – улыбающийся и пока ничего не подозревающий дядя Илюша прервал разговор с племянником и повернулся к Аньке.

– А-а... вас, что ли, тоже мухи обосрала, да?

Не смотря на то, что отец, отсмеявшись, объяснил обомлевшему дядьке Илько причину возникновения Анькиного вопроса, родственнику все равно, почему-то, было не до веселья, и он лишь выдал из себя нечто вроде улыбки.

В один прекрасный майский вечер, когда родители еще были на работе, к ним в дом внезапно нагрянули гости, родственники по отцовской линии: их родная тётя Нина и двоюродная сестра Надя. Они радостно сообщили, что Ольке сегодня исполнилось четыре года, и подарили ей (впервые в жизни!) две замечательные книжки с цветными картинками: «Дозор» и «Где тут Петя, где Сережа?». Оля от счастья была на седьмом небе и радости ее, казалось, не было предела, тем более что ее, как и Тольку, на тот момент научила чтению старшая сестра. А Аньку в свое время научили читать те же старшие двоюродные сестры, когда обе семьи братьев Журбенко проживали в Муйнаке. Да, благо, мама каким-то чудесным образом еще с былых времен сохранила в доме, хотя и скромную но, все-таки библиотеку, в которой имелись и так полюбившиеся детям сказки Пушкина, Андерсена, стихи Некрасова, Лермонтова и Михалкова, басни Крылова, а так же сказка про Старика Хоттабыча Лазаря Лагина.

Оля по просьбе Павлика множество раз перечитывала новые подаренные книжки, и вскоре она, а позднее и Павлик, знали их наизусть. Правда, сначала, на всякий случай, Оля прятала эти книжки от мамы, но потом такой необходимости не стало, потому как мама сама, не без гордости за младшую дочь, велела ей рассказывать стихи всем, кто к ним ни заходил, причем, чаще обычного заявки поступали именно на стихотворение «Дозор». Оля, донельзя довольная, что все, особенно взрослые, стоят и внимательно слушают ее, сама взбиралась на табурет и торжественно начинала:

– Я нашел в канаве серого щенка,
Я ему на блюде налил молока.
Он меня боялся, жалобно глядел,
Прятался в калоши,
Ничего не ел...
...Я его Дозором в тот же день назвал!
Как меня любил он...
Как меня он знал...

А когда она, набрав в грудь побольше воздуха, воодушевленно, помогая себе жестами, произносила финальную часть:

– Я горжусь Дозором!
От него – привет!
Мы покинем завтра скучный лазарет.
На родной заставе вьётся красный флаг,
Перейти границу не посмеет враг!!

Раздавались бурные аплодисменты, и Оля в знак благодарности низко кланялась и была бесконечно счастлива.

Четвертый день рождения Ольке запомнился особенно еще и тем, что из уст тети Нины и сестры Нади она впервые в жизни услышала, что такое именины и что означает необычайно красивое и таинственное слово: «КАРАВАЙ»... В тот вечер они, все вместе, дружно взявшись за руки, хороводили вокруг воображаемого каравая:

Как на Олькины именины
Испекли мы каравай!
Вот такой вышины!!!
Вот такой ширины!!!
Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай!...

И с того самого дня Оля стала мечтать о том, чтобы побыстрее вырасти и испечь огромный, пышный, золотистый каравай с хрустящей корочкой – именно такой, о котором поведали ей родственницы. Он будет пахнуть так же необыкновенно вкусно, как печенье, которым мама, когда у нее пропало молоко, предварительно пережевав, кормила маленького Павлика; всей семьей они будут весело водить хоровод, а потом дружно сядут за большим столом, и, шутя и смеясь, пить чай с сахаром и есть этот волшебный каравай... Волшебный – потому что, кто откусит от него хотя бы кусочек, тот сразу же превратится в доброго человека: и папа, и мама, и Анька, и Толька... И тогда все в их семье будут любить друг друга, а ссоры и дразнилки непременно прекратятся. И вообще, тогда никто не будет горевать, потому что именно с этого момента для них начнется по-настоящему счастливая жизнь...

Глава IV

Еще отец с удовольствием рассказывал про казус, произошедший однажды с Олькой, которой он тоже запомнился, но, вовсе не как забавный.

Всё началось с того, что, как-то летом, выйдя за калитку, Оля увидела, как Анька высадила соседского трехлетнего Нурлана из его, только что приобретенной детской, но почти как у взрослых – с рулем и педалями, машины. Усевшись за руль, Анька каталась, пока техника, из-за того, что у нее погнулись какие-то там детали, вообще не стала двигаться с места. Дело в том, что данная игрушка, хотя и была солидной, но предназначалась для дошколят, а Аньке на тот момент было уже почти девять лет, причем, будучи самой рослой в классе, она первой стояла в строю на физкультуре. Тем не менее, не желая покидать захваченное авто, только крепче ухватившись за руль, Анька настоятельно требовала у Тольки подтолкнуть машину, но та, хотя и была только с конвейера – считай, «в масле», трогаться больше, похоже, не собиралась. Ошарашенный рэкетом соседки Нурлан, постояв с минуту-другую в ступоре, наконец, расплакался и побежал к своему дому. Через мгновение он появился снова, но уже не один, а за руку с мамой Айшой, которую Анька с Толькой еще с давней поры боялись, как огня, потому что та уже не раз им делала ужасно «болочные» прививки. Почуввав неладное и отскакивая от автомобиля, они в один голос заявили медсестре-«садистке», что они, дескать, своими глазами видели, как автомобиль ее сына только что взяла и сломала Оля. Мама Нурлана, не долго думая, и не говоря ни слова, надавала Ольке оплеух, взялась за оставшийся невредимым (после буквально вчерашнего приобретения) руль и потащила своих обоих – физически, технически и морально пострадавших домой. Оля, от неожиданности и боли сначала в молчании сидела на земле, ничего кроме гула не слыша, а лишь созерцая, как Анька с Толиком показывают на нее пальцами и беззвучно смеются, затем, когда звук в ушах восстановился, ей ничего не оставалось, как дать волю слезам.

В этот момент подъехал к дому отец с каким-то своим знакомым – на мотоцикле за рулем, и оба они были очень веселые. Мгновенно набежавшая ребятня с любопытством рассматривала сверкающую новизной технику, а мотоциклист, указав пальцем, на сидевшую на земле зареванную Ольку, спросил у отца:

– Это твоя?

– Да, а шо?

– Давай ее с собой к Мартыненковым возьмем?

– Та нагада оно здалось, шобы...

– Давай, давай, – перебил его товарищ. – А то они, гляжу, ее тут сожрут с потрохами.

Скажи только, чтоб переделась или хотя бы умылась. В гости ж, все-таки...

– Ну-ка, Оляга, быстро беги – надень там шо-нибудь пидходяще... – распорядился отец.

И уже в след убегающей Ольке добавил – Та сурло ж там о то свое умой! У гости жеш о то...

Забежав в дом, Оля наспех перерыла весь сундук, который, видимо, по причине отсутствия в доме сахара, не был в тот день закрыт на замок. Но ничего «пидходящего», кроме длинной, ниже колен Анькиной мятой майки, грязной до неопределенного оттенка, она не обнаружила. И, надев эту находку из общего «гардероба» она подвязала ее какой-то попавшейся под руку веревочкой «вместо пояска», умылась на скорую руку и, опасаясь, кабы не уехали в гости без нее, снова выскочила на улицу.

Так как мотоцикл был без люльки, отец посадил Ольку на заднее сидение для пассажира, только почему то не впереди себя, а за своей спиной, приказав крепко за него держаться. Мотор взревел и они, наконец, тронулись. Поскольку Оля была босиком, она, конечно, в первую же секунду обожгла ногу о еще не остывшую трубу глушителя. Но, героически стиснув зубы, она не подала вида, что больно, дабы не злить ни отца, ни дядьку мотоциклиста: «а то еще переду-

мают и не возьмут меня в эти самые *гости*...». Что означает «в гости» она тогда представляла пока смутно; вот, что такое «возле магазина» она еще знала, а о том, как он выглядит изнутри – слышала только из рассказов Аньки: «...в магазине очень много всего красивого и так чисто, что всё аж блестит! И там полным-полно всякой новой и сверкающей всячины...»

Так Оляка, ведая лишь теоретически – со слов сестры, что в таком красивом месте, так напоминающем магазин, могут жить люди, вместе с отцом и дядькой-мотоциклистом вошли в дом к Мартыненко... Почти не соображая от волнения, и лишь зафиксировав всё сказочно сверкающее, она на всякий случай робко уточнила у отца:

– Папа, а это, что ли, магазин?

После глубокой, словно повисшей в воздухе паузы, грянул громopodobный смех. Оляка, сгорая от стыда, не знала, куда деваться. К тому же, и отец почему-то смеялся громче всех... Даже больше самих хозяев...

Но, как говорится: «Клин клином вышибают». И дабы поскорее забыть только что наступившую ее очередную неприятность, на обратном пути она вспомнила другое, куда более шокирующее приключение, которое с ней произошло немногим раньше, когда Анька училась в первом классе.

В тот злополучный день мама зачем-то взяла Ольку с собой на работу и, подведя к двери с табличкой «1 „А“ класс» шепотом, но достаточно строго вдруг сказала:

– Вот это Анькин класс. Так, я побегу домыть калидор, а ты тихонько зайди туда...

– Не-е-ет! – вытаращив на маму глаза, начала упорствовать Оляка.

– Давай, давай... Тихонечко так зайди и всё. Хоть посмотришь, де Анька учится...

– Нет! Ну, зачем?! Я боюсь!.. – Олькин шепот становился все громче.

– Ти-их-хо!... Кав-во боисся?! – только категоричнее настаивала мама. – Вот скоро дам звонок, они, как черти повыскакивают со всех классов и затопчут тут тебя! Ну-ка, заходи! Давай-давай, быстренько! Ну?!.. – явно что-то замышляя, прошипела она.

Олькой овладел жуткий страх: то ли от предчувствия позора, то ли от не присущей маме, оттого и более чем странной ее настойчивости. Но и послушаться маму ее тоже как-то не прельщало. Она с минуту постояла в нерешительности, даже не в состоянии вообразить, что ее ожидает, если она войдет в Анькин класс: «...И зачем мне туда заходить? А вдруг Анька потом меня побьет за это? Может, убежать домой? А вдруг мама со шваброй догонит, и будет только хуже?.. А вдруг Анька с Толькой будут меня дразнить трусихой, если не зайду?.. А вдруг у нее учительница злая? И зачем только мама хочет, что бы я туда зашла?..» Как вдруг мама резко толкнула ее в спину, а сама молниеносно скрылась, очевидно, за ближайшей колонной. От толчка дверь первого «А» широко распахнулась, и Оляка в маминой полудошке до пят, подпоясанной отцовским солдатским ремнем со звездой, предстала во всей красе перед классом старшей сестры...

Класс от неожиданного вторжения дружно засмеялся, а учительница, встав из-за стола, с недоуменным лицом подошла к ворвавшейся непрошеной гостье и певучим голосом спросила:

– Это еще что за Филиппок? Ты чья? И как ты здесь оказалась?

Знать-то Оляка знала, что на вопросы следует отвечать только правду и ничего кроме правды, тем более, взрослым, и тем более, Анькиной учительнице... Но сделать это именно сейчас она не могла, потому как не в состоянии была не просто говорить, но и, кажется, дышать. У нее даже вылетело из головы, что это, всего-навсего, Анькин класс... И было очевидным, что невероятное количество сидящих, злобно смеющихся над ней своими прямоугольными – без передних зубов ртами, совершенно одинаково одетых в черные одежды с белыми воротничками, зловеще сверкающих то глазами, то октябятскими звездочками монстров, перепугало Ольку до полусмерти. У нее не только не поворачивался язык, а она вся словно превратилась

в соляной столп. Да, в эти страшные секунды ей вряд ли могло прийти в голову, что ее родная, старшая сестра здесь, среди них...

Кажется, прошла целая жизнь, прежде чем Анька, наконец, встала с места и призналась, что это ее младшая сестра, но появилась она здесь пока по непонятной причине.

Лишь оказавшись дома, Олька дала волю слезам и их убогая, сырая и грязная избушка ей впервые показалась невероятно спасительной и родной... Потом она еще немного позлилась на маму, а когда злость прошла, просто замкнулась в себе и старалась не вспоминать тот страшно-нелепый случай.

Мама произошедшее так и не прокомментирует... А что до Аньки с Толькой, то у тех, словно сам по себе, появился очередной повод для пополнения перечня обзывательств в адрес их вечной горемыки-сестры, и на сей раз они называли Ольку Филиппком-дурачком или попросту дядиной дурой. После этого она еще длительное время даже не смотрела в сторону школы.

Весной шестьдесят четвертого, после череды паводков, обвалилась почти треть их уже давно и без того покосившейся лачуги, в связи с чем, маленький Павлик две зимы подряд лежал в больнице с двухсторонней пневмонией. Болели всю зиму, прихватив весну и осень, конечно, и старшие, и казалось, что этот изматывающий кашель уже никогда в жизни у них не пройдет. На этой почве и участились ссоры родителей, которые пребывали в постоянном, мягко говоря, раздражении. Отец, просыпаясь глубокой ночью от детского кашля в четыре глотки, страшно нервничал и просто негодовал:

– Та язви ж вас у душу, нихай, га! А ну-ка, прекратите бухыкать! Разбухыкались, язви, шо выспаться как следует о то батькови не дають! Щас, как возьмусь о то за ремень! Батькови завтра с ранья на работу, а оне и бухыкают и бухыкают... Ну ты их и распалючила, Катька!..

Как они, ни в коей мере не помышляя злить отца, ни старались затыкать рот одеялом, как ни тряслись от страха быть наказанными за столь ненавистный ими самими, обрушившийся на них в очередной раз недуг, приступы кашля, как назло, у всех четверых не останавливались именно ночью.

Мама, вероятно, не желая оставаться равнодушной к беспокойному сну и без того не часто наезжавшего домой мужа, вступала с ним в диалог:

– Та ты хоть тока ночью, да тока када приезжаешь, слышишь это бухыкание, а мне каково... Та еще и каждый Божий день выслушиваю то от учительницы, то от завуча: и «че тока ваша Анька то вечно кашляит, то в туалет отпрашуется?..» или: «...почему тока ваша в такие морозы – и в резиновых сапогах та без пальта?» Остое... енили уже со своими придирками... Другие бухыкают, и ничё, а моя, дак... И всё им не так: то почему воротничок та обшлага у нее грязные, то почему одна она из класса не сдала деньги на фотокарточку? А этой осенью теперь у школу уже двое пойдут... И де я им возьму стока денег – аж на два пальта? Та и на всё остальное...

– Та на гада им о те пальта, када тут тока через дорогу о то перебежать? Это мне без куфайки у холодной кабине... Покрутила б сама о та училка баранку зимою, ети её мать...

– Вот и я им говорю... А им – до сраки! И грызут, и грызут...

– Катя, а шо так у хати о то сыро та холодно? Я, как о тот цуцик замерз, язви. И ноги у тебя, как о то лёд... Та убери жеш свои холоднучие гаргэли! Ты, шо не топила с вечера хату?

– Это твои кривые – холодные, как лед, а не мои... Топила. А толку то? Не видал, что ли, в том углу стенка отходит, шо аж дыра насквозь – огород и небо видать? Та шо там говорить, када пошти полхаты завалилося... Пол сырой и пошти до потолка все стены, вон, сырочие, шо тикёт по им...

– Та где б я тебе о то видал, када приезжаю уже затёмно?

– А не боисся, шо в другой раз заявисся, а нас тут позавалило к чертям собачьим?

– Када бы ни приехал, ети ее мать, у нее то хата валитца, то эти бухыкают, то ей сыро... А срач, та жрать нехрен – тоже я виноват? Херовая ты, Катька, хозяйка, язви тебя у душу нихай...

– Ты, канешна, хороший хозяин! Привез и бросил тут гнить... как хочешь, так и выживай, мол, сама с четырьмя. Или, думаешь, раз перевёз у город, то я не знаю, де ты ночуешь, та кого возишь в своей кабине? Это я в Муйначке – дура была, шо ничегошеньки не слыхала у той степи, как и с кем курвисся, када дома не бываешь...

– Та не мели о то ерунду! Побольше, дурочка, слухай о тех сплетниц усяких. Хто тебе опять набрехал, шо я кого-то вожу? Та убери жеш свои лягушине гаргэли!

– «Кого, кого?» Корову! То в клетчатой, то в красной юбке... Думаешь, не знаю? Дово-зисся, как тот кобель, када-нибудь, пока заразу не подцепишь, та еще и меня «наградишь»... Или, как бы не пришлось какой-нибудь еще алименты платить. Канешна, он не видит, как эта «херовая хозяйка» целыми днями пэцкайтца та карячитца с этой чертовой шваброю. А окон та дверей скока надо поперемыть у этой школе? И все равно никада не могу дотянуть до получки... А ему хоть бы хны: он – за юбками! Ему поглавнее – шалав возить у кабине! Забыл, шо у самого четверо и все жрать просят?

– От де дурочка-то, га! Диствительно, дурочка! И куда я тока, дурень о такой, смотрел, када брал о таку дурнючу?.. Не-е-ет, рази она мне дасть сегодня выспатца... Та прекратите жеш бухыкать, язви вас у душу!! Не-е-ет, завтра же выжжяю! И никада больше не приеду!! Та нихай вас тут усех позаваливает о то к гадам! Та пропади ты пропадом со своими щенятами! Та на гада оно здалося, шо бы о такое терпеть о то молодому мужику?

– Та выжжяй, хоть щас! Тока не забудь этих четверых прихватить, шо понаплодил!

– Та с первым же петухом и въеду! Тока заберу одного Тольку, и въеду. А вы тут хоть повыздыхайте без меня, раз я такой поганый.

– Тада и вставай прямо щас – сам затопляй печку, грей воду в радиатор, заводи и – уё... й на все четыре стороны! Тока, шоб духа твоего тут никада больше не было!..

...Как бы там ни было, Анька закончила первый класс с одними пятерками и принесла домой фотографию, на которой в одинаковых кружочках были запечатлены все преподаватели школы, директор и весь Анькин класс.

Среди полсотни очень даже милых лиц (и вовсе не страшных, как когда-то показалось Ольке, хотя и с теми же белыми воротничками и октябрятскими звездочками; только девочки были уже не в черных передниках, а в белых), она даже быстрее Тольки и мамы отыскала кружочек со своей сестрой; наверное, потому что из множества лиц, только Анькино лицо как то по-особенному светилось, потому что только Анька на фотографии была самой красивой и самой родной.

Лето шестьдесят четвертого было омрачено, во всяком случае, для Ольки, некоторыми неприятными моментами, один из которых был связан с тем, что она претерпела очередной позор, когда, испугавшись паутины с огромным черным пауком, провалилась в дырку туалета, что стоял в конце огорода. А также и страшилками старших возле сырых и смердящих куч, таки развалившегося сарая-пристройки к их мазанке. Дело в том, что в отсутствие родителей одним из развлечений Аньки и Тольки было заманить младших в развалины и хорошенько их поугатать: «... в этой куче лежит дохлая рогатая бабка с черной-пречерной рукой... Эта страшная дохлая бабка оживает, чтобы душить таких маленьких, как вы, салаг! Да вон, вон, вон ее рука вылазит! А здесь закопан пьяный дядька! Вон там за бабкой торчит его череп! Да тихо вы! Я только что слышала, как он попросил: «Пи-и-ить...»

Подобные страшилки наводили как на шестилетнюю Ольку, так и на трехлетнего Павлика невероятный ужас. После чего младшие стали бояться всего на свете и вздрагивали по любому поводу даже во сне. Да даже во время очередной драки Аньки с Толькой среди бела дня, младшие теперь на пару стали забиваться под топчан, и изо всей силы закрывали пальцами глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать, как дерутся их старшие брат с сестрой.

Первого сентября шестьдесят четвертого Анька пошла во второй класс, а Толька поступил в первый. Приближение очередной зимы, полуразваленное жилище и отсутствие зимней одежды у старших, по всей видимости, и позволило задуматься отцу семейства о переезде туда, где климат менее суров, и где не будет особой нужды ни в приобретении теплых вещей, ни в таком большом количестве угля и дров. И уже в середине сентября отец на куске фанеры зеленой краской написал объявление: «Продается дом» и прибил его к забору у калитки. Вечером, приехав раньше с работы, когда мама еще не пришла, а Анька с Толькой учили уроки, отец, не обнаружив объявления, рассвирепел:

– Ольга!

– А!

– Не видала, кто оборвал мое объявление?

– Не-а...

– А то я не знаю, чьи это проделки... Это ж о та стара карга, язви ее у душу! Не нравится ей, шо ее Гаврылю выижжяет из этой дыры, а ей о тож некому будет привезти ни угля, ни дров. А сама, если раз у год приползёт, как о та змеюка, пошипить, пошипить, та и уползет обратно у свою нору. Нет, о то, шобы сыну та онукам помочь... Тока ей бы всё завозили, а сама и носа не показуить! Та я шо, другого объявления не напишу, чи шо? Ольга!

– А!

– Неси краску та другу хфанерину! Она, думает, шо я о то больше не напишу-у? Тю-ю! Нет, стара карга, еще и как о то напишу-у!! Чи я безграмотный? А надо будет – и сто раз о то понапишю о тех объявлений! Та неси жеш скорее, пока батько о то не передумал!

– А где ее взять, па?

– Кого?

– Фанерину.

– Та поищи там, коло свинарника. А краска... та вон жеш стоит под скамейкою.

На дворе уже сгустились сумерки и Олька, преодолевая невероятный страх, вышла из сеней. Но, сделав пару шагов, она услышала, как возле забора, куда обычно мама выплескивала отходы, сначала раздались шорохи вперемешку с клацаньем зубов, а затем и воочию увидела забредшую к ним большущую собаку, с усердием грызущую кость. С перепугу оставив во дворе отцовские галоши, она с вытаращенными глазами, босиком забежала обратно в дом:

– Па, я боюсь... Там собака...

– Та кака там, у сраку, тебе собака? Та о то тебе померещилося! У нас жеш нету никакой о то собаки! Трусиха, ети ее мать... – вглядываясь в темное окошко, сказал отец.

– Да большая такая, белая и с ч-черными пятнами...

– Тю, ети её мать, пошли удвоём!

Выйдя из сеней, отец отыскал свои галоши, и едва не наступил на ту самую собаку. Он хотел, было, её пнуть, но та, поджав хвост, с костью в зубах успела улизнуть. Не найдя в своем дворе основы для нового объявления, отец подвел Ольку к проволоке, разделяющей их огород с соседским, и показал на кусок фанеры, аккуратно освещаемый светом из их окна:

– Смотри, кака хороша хфанерина, язви... И валяется ж у их без дела... Та они её, дурачки, усё равно сожгут. А нам она очень даже нужна... Я под проволоку не подлезу, а ты... Лезь! Давай, Ольга, быстрее, ну!?. – в полголоса, но тоном, не терпящим возражений, произнес отец, приподнимая импровизированный забор.

– Боюсь, па... – растерявшись, начала, было, хныкать Ольга.

– Та на гада он им здався о тот кусок говна?! Лезь, говорю, трусиха! А то не возьму тебя с собою на Юг!

– А вы... Аньке с Толиком не скажете?

– Шо?!

– А то они меня «воровкой» будут дразнить...

– Лезь, давай, дурочка о така! Еще я перед о теми гомнюками не отчитывался...

Так Олька в свои шесть лет совершила кражу частного, точнее соседского имущества.

Наутро отец повесил новое объявление и приколотил его гораздо выше предыдущего:

– О-от. Пускай теперь попробуишь допрыгнуть о то или дотягнуться о та стара карга...

Баба Ариша, и на самом деле, больше объявление не срывала. Она, наоборот, сама явилась на переговоры с белым флагом. Правда, пришла она в отсутствие сына, и из их разговора с мамой выяснилась основная причина протеста бабы Ариши касательно переезда семьи её непутёвого Гаврыло:

– Це, ма будь, Катя, опять выижжяетэ, чи як? – не без сарказма начала она с порога.

– Здрасьте, мама. А то вы не знаете? Кто ж тада объявление сдирал? Или вы так хотите, шоб ваших же внуков и попривалило тут заживо?

– Та хто ж це такой вумный о цю вашу халупу купэ, га?! И на яки ж таки гроши вы поидытэ? И дэ ж вас, о таких вумных, хто ждэ, га?

– Купят. То ли больше нету, кроме нас, таких «умных»? И на дорогу хватит, и на контейнер. А на хату там – на юге... Гаврил сказал, шо там займем у кого-нибудь. Из земляков. Там, поди, остались хто-нибудь из Муйнацких или с моих – Шемонаихинских. А тут мы – или подохнем с голода, та холода, или попривалит всех к черту. Вон – всё валицца... Еще одну зиму, мама, эта хата не выдюжит.

– Тю-ю, ей про Ивана, а вона про болвана! Катя, Катя... Я ей кажу, шо кому вы там, о таки вумни, у том... як його... у том Калыныни будэтэ нужны, га? Тильки и знаетэ, шо тудысюды мотатыся! Бо ваша дурна голова вам жеш самим о то и нэ якого покоя тай нэ дае! Та выижжяйтэ – хочь до края белага свету! Бо мэни до цёго нэ якого дила нэмае...

– А зачем тада объявление содрали, если вам дела нема?

– Та ты хйба нэ зразумишь, шо вин тильки выидэ, а мэнэ тут по мылыциям затаскають, як и у той раз було? Чи ты сама вже спъятыла?

– Не поняла: за шо это вас затаскают то?

– Та за то, шо вин, гомнюк о такой, усю жисть от элиментив ховайтэ! Ще вона мэни каже: «За шо?»

– Да эти чертовы алименты у него шо там, шо здесь каждый месяц выщитывають, вон, ползарплаты. Всю жисть впроголодь живем из-за его алиментов...

– А шо ж ты тада ухватылася за нёго, та приихала сюды за ним, га?! О то ж. Еи и нэма шо казати...

– Та дура была, вот и поехала! А куда теперь с этими... денисся? – развела руками мама.

– А я ж тоби ще тоди казала – дилай аборт, колы ты ще Толькою ходыла! Так ты ж мэнэ нэ послушала. Тоди ж можно було ций аборт, поки я у той... у болныци робыла.- понизив голос, сказала бабушка.

– Хм, та хто б тада разрешил снохе санитарки туберкулезной больницы делать тот чертов аборт? Вы че такое говорите, га, мама?! А за подпольный – в тюрьму бы упекли.

– Тю, дурочка. Я хочь и санитаркою була, а добалакалася бы. Та ныхто мэнэ бо и нэ посадыв бы никуды...

– Канешна, посадили бы меня, а не вас... Та щас то мне не страшно – научили теперь добрые люди...

– Чому навчили?

– Чтобы больше не брюхатить.

– Як це так?

– Та вам-то зачем, када с вас песок уже сыпитца?..

– Дывысь, щоб так не «навчили», щоб я з твоими бастрюками осталася... Хто тэбэ навчил?

– Да, вон, Айша, шо через забор. Она же медсестра. Приходила же им прививки всем четверым делать от кори, от скарлатины, та от оспы...

– И шо?

– Та увидала, как мы «хорошо» живем... А если еще и пятый появитца?.. Ну и научила...

– Та як жешь о то?..

– «Як, як?» Не бойтесь, от *этого* не здохну. Бинтик – на пальчик, и макнуть его, как она сказала: «в кислую среду».

– Як це макнуть? У яку-яку сэрэду?

– Да не в среду, а каплю уксуса разведу водой и – всё... Слава Богу, пошти три года, как уже горя не знаю... Хватит с меня и этих четверых по самое горло.

– Ось и няньчись тэпэрь, колы наплодыла. Та кажний жеш рик вона по бастрюку, як о та порося... Ось тэпэрь нэ гавкай! А мэнэ нэ займайты! Трэба воно мэни? Бо свою жисть я прожила и своих дитэй повыростыла. Тэпэрь на пэнзии, ма будь, мэни трэба витдохнути трошки. А ты, Катька, як о то була дурнючею, так о то и подохнэшь дурую! Ты подывысь, на кого ты стала похожа, га!? Дойшла, шо ни кожи, ни рожи нэмае, та ще и ума нэма. Шо в тэбэ, а шо у твого Гаврыло нэма ума! О то ж, и е – одна сатана...

– Та не было б ума у вашего Гаврыло, он бы давно со мной записался, и не двум бастрюкам платил бы алименты, а уже аж шестерым... Ничё, это тут он – король, шо всю мою кровушку выпил. А там у меня родная сестра, как никак... Та и тепло ж там, шо на одёжду теплую не надо будет горбатицца. Там всё растет, не то, шо здесь – холод собачий та сырость эта проклятушная. Переберёмся, даст Бог, туда, и... Та, проживем как-нибудь.

– О тож, «як нэбудь...» Тамо вы с Гаврылою сами подохнитэ, як собаки, та ще и дитэй с голоду поморитэ. Тамо гузбэки вас о то ждуть, як жешь, нэ дождутыся...

– Там и пойду с узбеками хлопок собирать, бо Гаврылу еще долго выплачивать эти, чёртовы алименты...

– Ага, а мэнэ мэлыция тут будэ пытаты, як и у той раз: «Дэ ваш Гаврыло, та дэ вин? Та дайтэ нам його адрэс, чи сами платытэмо за свого сыночка о цим двум бастрюкам»... Ой, Катька, Катька... Та яка ж цэ ты... Ще вона мэни кажэ «за шо?» Та выжжайтэ! Хотила бо я бэз скандалу о то попрощатыся... Та пропадыть вы уси пропадом! Бо я до самого прокурора дойду, но мэлыция вас виттеля знайдэ, дэ б вы нэ сховалыся! И кантерню вашу грузиты нэ прыйду! И провожаты вас на вокзал нэ поиду! – бросила в сердцах баба Ариша и, хлопнув дверью, вышла из дома.

Катерина с детьми подошла к окошку:

– Приползла, насрала у душу, и уползла... О, топчется у калитки... Наверна шас... Точно... Ползет, гадюка, обратно... Видно еще не все гадости выказала... – саркастически усмехнулась она.

Бабушка, действительно, вернулась, но теперь уже со слезами на глазах:

– Нэ трэба, Катя, о так о то... прощатыся... Чи мы нэ людыны?... – она взяла на руки подошедшую Ольку и села на табурет:

– Вы ж для мэнэ родны онуки... – и немного помолчав, продолжила – Там жешь, Катя, в тэбэ твоя матэ схоронэна, шо и проведати ей тамо некому... Бог дасть, мабудь, справитэ ей тамо крест та оградку, як о то приидытэ. А я тутычко остагнуся, поки уси ж Ивановы дивки не повывучиваються тут у городи. Його старшие ж у мэнэ живут, бо у Муйначке школы для их вже нэма, а тильки для малих.

Она погладила по голове внучку и крепко прижала ее к себе.

– А вы пышитъ бабушке, – сказала она уже совсем мягко – Ма будь, Бог дасть, то прыиду до вас колысь у той ваш... як його... Калынин о ций, будь он неладен...

Тут к бабушке подошли Павлик и Анька с Толькой, и баба Ариша, погладив по головке и их, снова всплакнула:

– Ма будь, тамо тёпло, тай, правда, выдюжитэ... А я мольтыся за вас тутычко буду... Будэ здоровье, ма будь колысь и прыиду туды до вас... Тильки пышитъ, та нэ забувайтэ свою о то бабу...

– А за алименты не переживайте... – внезапно прослезилась и мама. – Я сама буду ходить там на почту и отсылать его жёнам... – пообещала она.

Так, недели за две до отъезда они и попрощалась со своей свекровью и бабушкой.

В один прекрасный вечер за ужином отец объявил, что завтра к дому привезут контейнер:

– Ты усю картошку по ящикам о то порассыпала?

– Та всю... Тока, как мы ее вдвоем загружать будем у тот контейнер? Я пустой-то ящик еле двигала...

– Та не бойсь, я ж договорился о то с дядькой Илькою – подъедить завтра та поможить.

– Это, которого «мухи обосрали», или другой тот — троюродный твой Илько?

– Та не нашел я того Илько. С уборочной, засранец, еще не приехал.

– Небось опять загулял, паразит, де-нибудь?

– Та не наше с тобою о то собачье дело, где он! А так, канешна, утроём мы бы, быстро о то погрузили. Ты мне лучше о то скажи, шо о та стара карга тагда приползала?

– А де ты ее видал?

– Та чуть лбами у дядько Илько о то не столкнулися, язви... Говорить, шо вже с усеми попрощалась.

– Всё боитца, шо уматаешь, а ее будут тут долбать с твоими ж алиментами.

– Как о то вы тока глаза тут друг дружке не повыцарапали?

– Как видишь, не повыцарапали...

Вскоре от мамы дети узнали, что их новое место жительства под названием Калинин, на самом деле, новым являлось лишь для Тольки, Ольки и Павлика, потому что родились они в Муйнаке и Атбасаре – на родине отца. А родители в Калининне когда-то уже жили, там же познакомились и произвели на свет Аньку. Но через год после Анькиного рождения, они сначала планировали переезд из Калинина на мамину родину, в Шемонаиху, но почему то передумали и уехали в Муйнак...

Уже перед самым отъездом из Атбасара, они услышали от отца, что поселок, в который они собрались, находится на самом юге всей бескрайней страны под Ташкентом и впервые услышали фразу: «Ташкент – город хлебный», и что там вообще не бывает морозов и наводнений, а растут настоящие арбузы, дыни, яблоки и виноград, которые они видели только на картинках. После всех этих многообещающих новостей дети с еще большим нетерпением стали ждать день отъезда.

Контейнер отец с дядькой Илькой благополучно загрузили нехитрыми пожитками, но в основном, конечно, он был заполнен ящиками с выкопанной намедни картошкой. Отец очень гордился этими ящиками:

– Это ж мне, дядько Илько, у воинской части дали о те ящики. Они ж – не халям-балям, а с под патронов о то!

– Та спер, небось?

– Не, сами дали.

– Хорошие ящики. И картошка в них доедет хорошо до самого Ташкента. Всё подспорьем будет там вам.

Олька крутилась возле машины с контейнером и ни на шаг не отходила – боялась, что про нее нечаянно забудут, искренне полагая, что, когда погрузят все вещи, они всей семьей

тоже сядут в этот огромный железный ящик и поедут на юг. Но смекалистый дядя Илюша, уловив тревогу внучатой племянницы, объяснил Ольке, что они отправятся на новое-старое место жительства лишь через несколько дней, и не в контейнере, а на поезде – в вагоне для пассажиров.

Услышав это, Анька засмеялась и сказала, что Ольку они с собой не возьмут, потому что она им не родная, а подкидыш. А Толька бегал вокруг Ольки и, высовывая язык, дразнил:

– А Олька – подкидыш! Мы ее с собой на юг не возьмем! Бе-бе-бе... ме-ме-ме...

Ей было очень больно и, уже с полными слез глазами, Олька побежала к маме уточнять свое истинное происхождение. Анька с Толиком ринулись следом, и, опередив Ольку, Анька первая обратилась к маме:

– Ма, а правда же, что меня вы нашли в капусте, Тольку в морковке, Павлика в больнице, а Ольку подобрали на дороге, потому что ее там татары бросили, да же, ма?

– Лучше бы помогли, вон, матери позаметать! Та принесите жеш хоть совок, там он – у сенках. – сказала мама, подметая опустевший дом.

– Толька! Быстро принеси маме совок! – скомандовала Анька.

– Сама носи! Мама тебе сказала! Ма, мы же Ольку с собой не возьмем, да же, ма? – спросил Толик.

– Тю, а куда же мы ее? Тут, что ли оставлять? Та вы принесёте мне совок, язви вас у душу, или нет?!

И Анька с Толиком, мгновенно исполнив просьбу матери, стали наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Олька, выпятив нижнюю губу, явно намереваясь вот-вот разрыдаться, робко приблизилась к маме:

– Ма-а-а?.. Аньку – в капусте, Тольку – в морковке, а меня где, м?! – с горечью вопрошала она, сквозь навернувшиеся слезы глядя на мать.

– Де-де... Ворона тебя на дереве снесла! Ид-ди, не маячь перед глазами!

– К-какая ворона? Где-е?.. – уже едва сдерживала она рыдания.

– В гнезде!

– Почему – ворона?..

– Та потому, шо ты горластая!! Та не путайся жеш ты под ногами, твою мать! Мотай отсюдава, я тут позамету, – оттолкнула она стоявшую над душой младшую.

Ответ мамы Ольку явно не устраивал и нервы ее не выдержали. Она с ревом упала на пол и забилась в истерике.

...Глядя в окно плацкартного вагона, Олька тревожилась, что поезд в любой момент может тронуться, а отца все еще нет: «Посадил нас, а сам куда то умотал... И мама, вон, вот-вот заревёт. И правда, где его носит? А вдруг он отстанет от поезда, и ему придется бежать за нами до самого юга?..» Потом она увидела первые перистые хлопья снега, которых было не так уж много, и летели они, плавно кружась, а когда опускались, некоторые исчезали совсем, а какие-то разметал по сухой земле носящийся в бешеном танце ветер.

Минуту-другую она сидела, широко раскрыв глаза, и смотрела в окошко невидящим взглядом. Потом ее внимание привлек такой же, как их зеленый поезд, плавно, с характерным пронзительным скрипом остановившийся на соседнем пути. В окне напротив, казалось, безутешно плакал маленький белокурый мальчик.

«Не плачь, мальчик. Наш Павлик такой же белый и поменьше тебя, но сидит себе и не плачет же. Не плачь, мальчик, не плачь. Не надо только зря плакать...» – думала, глядя на него, Олька. Мама мальчика, тем временем, пытаясь успокоить его, показала пальцем на окошко, из которого смотрела Олька, и что-то ему, улыбаясь, сказала. Мальчик посмотрел на Ольку и вдруг перестал плакать. Олька обрадовалась: «Ну вот, молодец, а то... Мы, маль-

чик, на Юг едем, где полно арбузов, яблок, винограда... А ты, интересно, куда едешь? Только не вздумай больше зареветь! Вот, так и смотри сюда, чтобы больше не расплакаться. Ведь если твоя мама не плачет, значит, и у тебя никакого горя нету! Когда вырастешь, тебе же и будет стыдно, что ты не из-за чего ревел в поезде, и только зря матери нервы мотал. Люди плачут только когда им очень больно, а не просто так...»

Так они и смотрели друг на друга, не отрываясь, пока их поезда не тронулись и бесшумно не поплыли по рельсам в противоположные стороны. «Хоть бы он больше не плакал. И хоть бы они тоже на юг поехали, как и мы...» – подумала Оля, провожая взглядом удаляющееся окно вагона с белокурым незнакомцем...

– Фух! Думал, шо не успею, язви... Та потеснитесь жещ, батько о то сядить! – всклокоченный запыхавшийся отец наконец появился в купе.

– Н-ну, с обоими сучками распрощался: и с той, шо в красной, и шо в клеточку, юбками? – прошипела мама, отвернувшись к окну.

– Та не мели ерунду! И мелит, и мелит о то, шо попало... Та ще и при людях та при детях... Ты хоть здагадался узять пожрать шо-нибудь? Узьяла у дорогу каку-то еду?

– Проголодался, кобеляка ... – буркнула мама, ища глазами котомку с едой.

– А то у меня вже у пузи бурчит. Та шо ж ты хочешь, када у мужика с учерашнего дня у роте крошки не було о то? А нам жещ, почти трое суток о то пилить...

– Подай вон ту сумку... Вечно он голодный... Мотаисся де попало... А если бы отстал от поезда? – ворчала мама.

– Па, а в Ташкенте, ну, раз он хлебный, там нам по две буханки будут давать, да же? – спросила Анька.

– Та мы не у самом Ташкенте ж, Аня, жить о то будем, а немножко дальше. Та ты ж ще маленька тада о то была, та не помнишь ни гада о то Калинин. Это ж больше ста километров от Ташкента. Но, если у Калинин нам будет хлеба мало, то купим муку, и мама нам лепешек о то напекёт, – взглянул отец с лукавинкой на маму. – Так шо, не пропадём, Анька! Та там жещ, окромя картошки, че тока не растеть у в огородах! Там аж по два урожая за лето сым ають!

– Мам, а в Калинин наш Ангел прилетит? Вместе с нами прилетит, м? – шепотом спросила Оля, приблизившись к уху матери.

– Та прилетит, прилетит... – ответила мама, сосредоточенно разворачивая газетный сверток с приготовленной в дорогу картошкой в мундирах... – Тю, а де же соль, б... дь? Я же помню, шо насыпала ее у кулечек...

– Я жещ говорю – рассамаха! Вот как теперь картошку о то и без соли, язви? Еще ж спрашувал ее, када собиралися: усё узьяла? Ой, Катька, Катька... Ой, Салапэтя ты Салапэтя... Не будет с тебя никакого толка о то... – кажется, не на шутку начинал заводиться отец.

– Та щас найду, че ты орешь? Я же знаю, шо я ее ложила!

– Шоб о то у дорогу, та соли не узять, язви... Шемонаиха, она и есть Шемонаиха! Так теперь оно, шо, давиться будем о то без соли? Ну и рассамаха, разъязви...

«Нет, в поезде он не начнет драться. Ему при людях будет стыдно. А если только полезет, – эти люди вместе с нами заступятся за маму. Хотя, из дяденек тут только один дед, и... и ему самому кто-то уже, кажется, выбил зубы; наверное, уже защищал кого-то. А, может, и от старости выпали, как у бабы Ариши. И как только они теперь, бедненькие, жуют? Поскорее бы нам всем вырасти, особенно Тольке и Павлику, что бы они стали большими дядьками и сами защищали маму...» – размышляла Оля, наблюдая за перепалкой родителей.

– Та вот же она! Я ж говорила, шо ложила! – вдруг воскликнула мама и торжественно поднесла газетный кулек к носу отца.

– Та, шо ты мне её у сурло о то суёшь? Разворамай, та давайте вже перекусим усе гуртом. Голод о то не тетка...

Поезд набирал ход и за окном уже довольно густо падал снег. Олька тихо сидела и смотрела в окно: «Ну вот, мы и уехали отсюда... Здесь нам было холодно, сыро и плохо, а там нам всем будет тепло, сухо и хорошо...» – подумала она и, наконец, облегченно вздохнула.

Глава У

1964—1973гг.,

*поселок имени Калинина,
Юг Казахстана*

Ташкент встретил их необычайно теплым, ласково обволакивающим ветерком, принесшим с собой головокружительное благоухание ароматов, гармонично переплетшихся с щедрым солнечным светом и завораживающими бархатными оттенками юга.

Выйдя из вагона и ступив на перрон, дети притихли, и, едва успевая за родителями, шли гуськом, вдыхая неведомые доселе запахи, и с чрезвычайным любопытством разглядывали происходящее вокруг. Каждый наверняка испытывал непередаваемые ощущения радостного возбуждения от впервые увиденного происходящего с ними самими такого нового, такого необычайного, манящего и одновременно многообещающего. Ольке, по правде говоря, вообще, поначалу почудилось, будто она все еще спит на полке в вагоне и ей просто привиделся сон про то, как поезд их всех вёз-вёз и, наконец, привез, но не в Ташкент, а в какую-то сказочную страну, название которой она пока что не знает.

Доброжелательные торговцы в удивительных одеждах прямо с телег с запряженными в них осликами, с расстеленных на земле мешковин или просто сухой травы, а многие с больших корзин, расположенных прямо на головах, ненавязчиво предлагали каждый свой товар: «Лепешки-Тандыр нан! Покупайте горячие!..», «Арбузы-карбызы берите! Совсем дешево!...», «Виноград без косточек! Покупайте Киш-мыш!..», «Дыни-кауыни! Вкусные, сладкие! Берите-покупайте!..»

Целые горы с характерными азиатскими ароматами дынь, арбузов, орехов, урюка, яблок и винограда вперемешку с копченой, янтарного оттенка рыбой и шипящим в дыму, сочным румяным шашлыком, кружили голову до умопомрачения. И боязно было прикрыть даже на секунду глаза – на случай, если всё это вдруг окажется не явью, а просто сказочным сном.

Невероятное впечатление на Ольку произвел дедушка в узбекском халате с бородкой, который как две капли воды походил на самого старика Хоттабыча, изображенного на обложке одной из любимых ею книжек. Единственным отличием от Хоттабыча, было разве что, то, что вместо чалмы на голове у этого дедушки была тибетейка. Двойник Хоттабыча сидел на кошме, скрестив ноги, пил из маленькой пиалушки какой-то зеленый напиток и после каждого глотка непременно одобрительно кряхтел. А прямо перед ним на расстеленной белой салфетке возвышалась сооруженная наверняка им самим пирамида из продолговатых, неправильной формы, но явно лакомых кусочков серого цвета, внешне отдаленно напоминающих подсолнечную халву. «Старик Хоттабыч» трогательным скрипучим голосом периодически повторял: «Шоколад-мармелад-мёд-халва... Шоколад-мармелад-мёд-халва...»

Поесть хоть чего-нибудь, им всем, конечно, уже давно хотелось, причем, со страшной силой. Но увы, даже попробовать рекламируемую самим «Хоттабычем» «шоколад-мармелад-мед-хадву» им так и не посчастливилось, потому что мама тихонько, чтобы не услышал отец, сказала про «Хоттабыча», что-де «этот старый хрен понамесил туда всякую херню, а дерёт аж по пять копеек за хреновину».

Проходя мимо деревянной бочки, установленной на телеге с запряженной в нее осликом, они увидели стоящую рядом девочку-подростка с множеством косичек.

– Холоду-у-щечки!... Холоду-у-щечки!..– мягким тонким голоском призывала она.

– Па, а что такое «холодушечки»? – одним из первых, как всегда, обрел дар речи Толька.

– Та-а, Толька, обычна ж вода о то с колонки! Тока, шобы она оставалася холодна на о такой жаре, они жеш, паразиты, кидають у бочку лягушек, а потом продають о ту воду людям...

– Живы-ых?...

– А на гада дохлых закидывать? От дохлых, Толька, вода тока протухнуть. Та тут вы еще много чего повидаете...

– Пфу-у-у!!!... – дружно засмеявшись, дети стали нарочито плевать, – Вя-я- ак!..

Несмотря на то, что было очень жарко, и хотелось не только есть, но и пить, но, то ли от волнения, то ли еще от чего, никто из детей так и не осмелился попросить родителей купить им даже «холодушечки».

Впрочем, от ощущения голода и жажды их отвлекало и просто завораживало буквально все вокруг.

В этот день дети впервые увидели настоящий трамвай. И даже проехали на нем несколько остановок, в том числе и... свою. Дело в том, что, когда отец велел всем продвигаться к выходу, Ольке с Павликом непременно захотелось проехать еще, хотя бы немного, в этом красно-желтом, почти сказочном вагоне. Они мертвой хваткой уцепились за спинки сидения, и ни Аньке, ни Толику не удалось заставить их покинуть свои места, а у родителей в этот драматический момент руки были заняты багажом. Тогда-то отцу и пришлось освободить свои руки, чтобы отодрать младших сначала от сидения, а потом и в переносном смысле, но уже на остановке, когда они, с горем пополам, вышли из трамвая. Одним словом, оказалось, что по вине Ольки и Павлика семья проехала две лишние остановки, и в обратную сторону отец велел всем идти пешком. Обливаясь потом, отец шел самый первый с двумя большими чемоданами, наполненными картошкой, и сильно ругался. Следом за отцом, тоже с двумя чемоданами шла мама. Но у мамы в одном чемодане была одежда для всей семьи, а в другом, что поменьше, была тоже картошка «на первое время». Но мама, в отличие от отца, шла молча. Анька с Толькой тащили какие то котомки, и, когда отец делал паузу, они шипели на Ольку с Павликом, потому как пока еще не могли простить им случай с трамваем.

Наконец, они вошли во двор одного из частных домов. Жили в нем вовсе не узбеки, а украинцы, и как оказалось, они были старыми знакомыми бабушки Арины. Дедушка Гриша был совсем старенький и очень хмурый, он тяжело дышал и почти беспрерывно кашлял. Даже у Ольки не было уверенности в том, что после очередного приступа кашля дедушка не умрет: «Хоть бы он только... не умер... Хоть бы батя не разозлился за то, что дед так сильно „бухыкает“ и не заругался бы на него...»

Дед сидел на кровати, опираясь одной рукой на костыль, а другой отбивался от мух с помощью свернутой, изрядно уже истрепанной газеты «Правда». Бабушка Нюра, вовсе не подходившая под статус бабушки, была явно моложе дедушки, маленькая, кругленькая, но юркая, и с певучим голоском. Пока отец делился с дедом последними атбасарскими новостями, бабушка стояла, скрестив на груди маленькие пухлые ручки и, не скрывая удивления, рассматривала нагрянувших гостей. Когда дедушка попросил бабушку попотчевать чем-нибудь детей, она вышла из комнаты и долго не появлялась. Потом бабушка Нюра, все же, вернулась, и, разводя пухленькие ручки, прошебетала свою, ставшую впоследствии знаменитой, фразу:

– Прыгала, прыгала, тай нэ достала! Ох, ты ж, Господи... Хотила жеш, хочь, по яблочку с кладовки о то гостинчків... Ей Богу, Гриша, прыгала-прыгала, та нэ достала...

Дед Григорий тяжело вздохнул и, опустив голову, снова раскашлялся. Потом отец попросил воды, и все по очереди набирали ковшом из ведра воду и пили с такой жадностью, что у детей текло по шее, животу и даже по ногам.

– Пейтэ, пейтэ, бо чего-чего, а воды в нас богато! И колонка ж о туточки нэ далэко... – щебетала без остановок бабушка Нюра.

Напившись досыта, непрощенные гости попросились и направились к выходу.

– Ой, Боже ш мий... И шо ж воно такэ? Прыгала, прыгала, тай нэ достала гостинчикив... Хотила ж, чи яблочко... або салыце... Ох, ох... – суетливо провозжая «гостей» до калитки, баба Нюра кудахтала словно наседка и хлопала себя по круглым бокам.

Отец позже, при любом проявлении скупости, будет еще не раз произносить бабынюрину фразу: «О то ж: «Прыгала-прыгала, тай нэ достала!»

По дороге на автовокзал они из открытого окна автобуса с любопытством смотрели на тротуары и мостовую, покрытые асфальтом, не привычного – серого, а коричневого, почти красного оттенка. Отец объяснил детям, что в Ташкенте даже песок, из которого делают асфальт – красного цвета, а земля не черная, как в Атбасаре, а рыжая.

За окном мелькали и повозки с осликами, и необычной постройки то маленькие, то большие жилые дома. А некоторые из них совсем не было видно за высокими, белыми, зелеными или желтыми саманными стенами-заборами с одним узким дверным проемом вместо привычной калитки.

Приятно удивляли и идущие по тротуару улыбающиеся люди в тюбетейках или белых чалмах, в длинных стеганых халатах, в изящных и легких сапогах. Вызывали неподдельный интерес девушки с косичками в тюбетейках и пожилые женщины в белых, необычно намотанных на голову платках. И все они были в пестрых платьях и штанишках с одинаковым фасоном и рисунком, разве что разной расцветки. Дети с восторгом смотрели на добрые улыбающиеся лица и слышали приветливый мягкий голос этих необычайно доброжелательных и счастливых обитателей Ташкента, этого потрясающего, и, как оказалось, не только хлебного города.

На автовокзале они пересели на рейсовый автобус, который помчал их по ровной асфальтированной дороге в конечный пункт назначения – районный центр Жетысу, от которого до поселка имени Калинина, как грозился отец – было уже рукой подать. По одной стороне дороги тянулись арыки с пирамидальными тополями, вербами, плакучей ивой, джудой, по другой – бескрайние хлопковые поля.

Только первым увидел кружащийся над полем самолет:

– Смотрите! Настоящий самолет!! А зачем он, па, над полем летает? И почему так низко? И, почему-то он без звездочки...

– Та потому шо это не военный, а «кукурузник». Хлопок он опылять, сынок, шоб листья с кустов поотваливались, а тока коробочки с хлопком пооставались о то, – ответил отец.

– Кукурузник, а летает над хлопком... А-а, понял! Тут нет кукурузы, а только хлопок! Па, ну он настоящий же, да? Железный?

– А то! Конечно, железный! Тока ж самые первые самолеты были о то хфанерные... еще у гражданскую.

– Па, а как он... ну... такой – железный и такой тяжелый, а летит... и не падает, а? Он же не машет, как птица крыльями, но – летит, а, па?!

– Так он жеш с заведённым мотором о то взлетаить та приземляется, шо ж ему падать о то? И в кого ж ты токо такой о то дурнючий, Толька, га?..

– Так в вашей машине же тоже *есть*... ой, *был* мотор, но вы же никогда на ней не взлетали, – проворчал, сникнув, было, Толька, не отрывая взгляд от кружащего над полями АН-2. – И как это он только не падает?..

– Та потому шо у самолета – плоскостя! А у машины нету плоскостей! Понял?

– Э-э-э, па! Ну, вот смотрите, – снова оживился Толька. – Сначала – кабина для летчика, да? Потом идет туловище с мотором и крыльями, потом хвост. А-а плоскостя... А плоскостя... они – где, па? – недоумевал он.

– Так крылля ж о то и есть сами плоскостя, дурило!! Не будет с его никакого толка, язви... – отец повернулся к маме и в голосе его прозвучал горький упрек. – Пацан вже пошел у школу, а не знает, шо такое плоскостя, язви...

Разочарованно покачав головой, он стал смотреть в окно. А мама, обведя взглядом оттопыривших уши пассажиров, бросила в сторону отца испепеляющий взгляд, прикусила губу и лишь красноречиво промолчала.

Автовокзал райцентра под названием «Жетысу» оказался на самой окраине городка – в противоположной части от поселка Калинина, к которому они, собственно, и проделывали весь свой путь. Поскольку никакого транспорта на горизонте не оказалось, в конечный пункт прибытия им пришлось продвигаться с багажом на своих двоих сначала через весь райцентр, а затем еще километра три по пыльной дороге.

– Па, а Ташкент это Узбекистан или кто? – снова начал Толька.

– Ну да... – машинально ответил отец.

– А Жетысу?

– Казахстан.

– Значит, мы из Казахстана приехали в Узбекистан, и снова очутились в Казахстане?

– Ну...

– Вот здорово! Мы аж два раза пересекали границу?! А почему тогда, мы не видели полосатый столбик и собаку с пограничником, а?

Отец судорожно засмеялся и, не в силах больше продолжать путь, даже поставил чемоданы. Остальные тоже остановились, подождали, когда он просмеется и снова двинулись в путь.

– Ну почему, а, ма? – более робко обратился Толик теперь уже к маме.

– Та потому, шо эти границы тока на картах, и тут не от кого их охранять, – ответила мама, – потому шо это всё – один Советский Союз.

– М-м. Ма, а кем был Жетысу? – спросил пытливый Толька, когда семья пересекала черту райцентра.

– Та ни «кем», а это переводится на русский, как «Семиречье», – ответила мама.

– С узбекского?

– Та шо с узбекского, шо с казацкого – один черт.

– Здесь, че, аж семь речек?! – обрадовался, было, Толик.

– Нет, здесь тока арыки.

– Семь арыков?

– Та здесь сто семь арыков...

– И не-ет, – недоверчиво протянул Толька, – они же тогда бы так и назвали – «Стосемиарычье»... А как «стосемиарычье» будет на узбекском и казахском?

– Шагай-шагай, давай, а то отстанешь, грамотей!

– А Калинин как переводится, а, ма? – не унимался Толька.

– А ты у бати спроси, как «Калинин» переводится, – прыснула мама.

– Па, а чё мама смеется? Че такое «Калинин», а?

– Та у самом Кремле ж, Толька, мужик, о такой о то работал... – ответил отец, продолжая шагать впереди всех.

– И он, что ли, умер?! – со скорбью в голосе спросил Толик.

– Та был бы живой, рази бы назвали поселок его фамилией?

– М-м...

За чертой Жетысу, по одной стороне дороги расстилались клеверные карты, а по другой, за арыком – хлопковые поля с еще недозревшими, кое-где лишь наполовину раскрывшимися зелено-коричневыми коробочками. Отец сорвал одну ветку, облепленную такими «упаковками», и объяснил детям, что когда ветки с коробочками полностью высохнут и из зеленых превратятся в коричневые, тогда коробочки с ватой раскроются, рабочие ее соберут, переработают, и из этой ваты спрядут сначала нитки, а потом и «соткуть материя, та пошьют о то одёжу людям. А из семечек, о тех, шо выросли у вате, сделают хлопково масло, та часть на семена для другого ж урожая оставлять. А гузопаёй – о теми сухими ветками, где росли коробочки,

зимой тут о то топят печки. Тут усё пригождается! Не зря ж хлопок тут называют «белым золотом», язви.

Когда справа от них закончилось хлопковое поле, отец остановился и поставил чемоданы:

– Смотри, Катя, как повыросли о те деревья на арыке, шо мы сажали. Та и там же ш, смотри, как джуда разрослася. О там жеш дальше кладбище, де мы Танечку хоронили, за о теми деревьями?

– Да, там... Там же, наверно, и маменьку мою соронили... чужие люди... Ты ж не пустил тада меня...

– Та не ной! Тебе, шо о то, земляки и не покажут могилку родной матери? Попроведаем о то потом сходим и Танечку, и бабу Вишнячку. Хороша женщина была... И добра ж, и умна, та поспокойнее о то своей дочки, – делая, по привычке, почти в каждом слове неправильно ударение, продолжал отец. – И тихонька ж о така была... Она меня любила... Не то шо о та стара – ридна мать, язви её... Помнишь, усё Гаврюшечкой меня называла? И тока Гаврюшечкой... Царство ей небесное...

– Та разве ж она тада знала, шо ты такой... кобелюка... и шо завезеш меня на край света...

– Ма, а баба Вишнячка тоже была нашей бабушкой? – спросила Ольга.

– Была-а... Она ж умерла за день до того, как ты появилась. Я ж сама сначала привезла ее сюда, а сама-а... потом тока хвос свой ей и показала – умотала в тот чертов Муйнак за вашим же батей...

– Та хоть белая света со мною повидала! – попытался, было, состричь отец.

– А как ее звали? – спросила Ольга.

– Феодосией Ивановной Вишняк звали мою маменьку... – с грустью ответила мама. – Это после паспартзации записали ее «Федосьей».

– Вишняк же звали вашего батю.

– Ну. А до замужества маменька была Сидоренко.

– А че она с тетей Фросей не жила? Тетя Фрося же здесь живет, – подключилась к разговору и Анька.

– Фроське той, как раз, до мамы было... Она ж тока и знает, как бы за кого та в который раз замуж шивырнуть! Пошти каждый год нового мужика в дом приводила. Какая мать будет терпеть такое? Вот мама, как я умотала отсюдава, и скиталася по чужим людям...

– А тетя Фрося говорила, что вы сами аж три раза шивырнули замуж! – вдруг выпалила Анька.

– Када это она тебе успела намолоть?! – возмутилась ошарашенная мама.

– А тогда, когда мы с папой на свадьбу к Райке ездили сюда! Я же помню...

– Соплячка еще, а туда же... Говорю же, вылитая Фроська! – обиженно произнесла мама.

И какое-то время семейство продвигалось молча по пыльной дороге вдоль арыка, на одном берегу которого возвышались осыпанные серо-желтыми запыленными листьями тополя и вербы. А на другом – сквозь стволы деревьев просматривались кусты джуды и можжевельника, за которыми, наконец-то, показались первые дома долгожданного Калинина...

– Смотрите... Смотрите!! Негр!!! Настоящий! Вон он, вон! – вдруг завопил Толька.

Они и в самом деле увидели абсолютно голого, загоревшего до черноты, мальчишку лет четырех, который старательно и задорно катил вдоль арыка надутую камеру от колеса грузовика.

– Диствительно, негр! – весело сказал отец. – А вон их на арыке, скока там еще, о тех негрят... Я-азви его!... Аж кишать! Как о те головастики! Сейчас дойдем до мостика, та передохнем у теньку.

С дорожной насыпи они спустились в ложбину, поднялись на берег арыка и остановились перед бревенчатым мостом, за которым и располагалась нужная им улица. На берегу и в арыке,

и в самом деле, просто кишела ребятня: они брызгались, плавали, ныряли с берега, с плавающих баллонов, с мостика, с деревьев, а те, что постарше, сигали в воду с тарзанки. Дети резвились и весело галдели, наслаждаясь праздной беззаботной жизнью. Несколько ребятшек на берегу ни чем не отличающиеся оттенком загара от увиденного ими самого первого «негритенка», лежали в пыли и загорали еще ...А те, что поменьше, носили в ладонях воду из маленького арычка, протекавшего параллельно шагах в пятнадцати от большого, строили там из глины причудливые домики и «пекли пирожки».

«Скорее бы и нам оказаться здесь, среди них...» – подумала Олька. А отец радостно сказал:

– С Атбасара выижжяли – снег пошел, а тут еще купаются во всю Ивановскую! А ведь сегодня вже шестнадцатое октября, язви...

Поселок удивил их ровными, пусть не асфальтированными, но чистейшими улицами с аккуратными домиками, покрытыми шифером, аккуратно огороженными заборами из палок или просто плетнями. Вдоль забора почти каждого дома росли вперемешку вербы, тополя и джуда.

Родители и дети, конечно же, знали, что в этом поселке живет их достаточно близкая родня, все семейство маминой родной сестры Фроси: и ее очередной муж Николай, и их приемный сын Мишка, а так же тетин Фросин родной сын Василий с женой Любой. Дочь ее, Рая, проживала с мужем отдельно – на соседней улице. Но сейчас вопрос о том, чтобы останавливаться у тетки по маминой линии не рассматривался, потому как он был обсужден родителями еще в канун отъезда, и вердикт был вынесен однозначный – тетя Фрося не должна даже знать о том, что ее сестра Катя с семьей возвращается на прежнее место жительства в Калинин.

Мама была на восемь лет младше своей сестры. Сколько она себя помнила, Фрося всегда ее обижала и отношения между ними были, начиная с раннего детства, весьма и весьма враждебными. Родные сестры не ладили, даже когда обе обзавелись семьями. Примирить Фросю с Катей не удавалось даже родной матери, когда та была еще жива. А когда их маменька (обе дочки ее называли именно так и не иначе) умерла и сестры остались на всем белом свете одни, они, хотя и проживали друг от друга на приличном расстоянии, тем не менее, «умудрялись» периодически отправлять друг другу письма с упреками за нанесенные некогда обиды. Хотя имя тети Фроси и упоминалось в семье Катерины достаточно часто, но исключительно как нарицательное.

При малейшей ссоре родителей отец, испытывая неудержимую потребность уколоть жену, упрекал ее за ее дурной характер, провоцирующий, на его взгляд, скандалы: «Та шо там говорить про меня, если ты с Фросьюкою усю жисть, как о то кошка с собакою грызлася...»

Мама в ответ, конечно же, за словом в карман не лезла:

– Это ты со своими всю жисть, шо в письмах, шо так гавкайся! А как с матерью родною грызесся!? Я-то, хоть, с маменькой своей ни разу не ругалася. А меня, самую, за шо колошматишь?

– Тебя не гонять – совсем распадлючися, – иронично отвечал отец.

Когда Анька обижала младших в присутствии мамы, она часто сравнивала ее со своей сестрой:

– Говорю же, вылитая Фроська! Такая же гадюка растет! И уродилася же в эту Фроську... Господи, и за что мне только такое наказание?..

Из рассказов мамы, тетя Фрося в детстве была слишком ленивой и перекладывала порученные ей дела на младшую сестру. А если та не справлялась с заданием, Фрося ее поколачивала. Припрятанное их маменькой что-нибудь съестное Фрося непременно находила и тайком съедала. Учиться в школе Фросе ужасно не нравилось, потому ей и удалось закончить только два класса, да и те с горем пополам, ибо каждый из них Фрося посещала по два года. Поскольку

старшенькой науки не давались, маменька и стала брать Фросю с собой на работу в колхоз. Но ни в поле, ни на ферме труженицы из старшей дочки тоже не вышло. И, когда Фросе исполнилось пятнадцать, она заявила, что выходит замуж.

Правда, потом тетя Фрося выходила замуж еще семь раз, и всякий раз делала это исключительно по любви. Причем, то ли по чистой случайности, то ли еще почему-то, фамилия ее каждого нового мужа непременно начиналась на букву «К» – Кирсанов, Кобзев, Конюх... С некоторыми из мужей она разводилась, потому что «не сходились характерами», некоторые Фросины мужья умирали, а некоторые просто уезжали навсегда и в неизвестном направлении. Сама же тетя Фрося ни на одну из фамилий мужей переходить не соглашалась, принципиально живя под своей девичьей фамилией, унаследованной от своего отца. На вопрос, почему сестры ссорились, и что они не могли поделить, мама неизменно отвечала, что тетя Фрося ей все время чему-то завидовала, хотя сама была статной белокожей красавицей, с толстой черной косой ниже пояса. Тем не менее, многие ее ухажеры, почему-то, засматривались на маленькую, хотя и хорошо сложенную, с льяными, волнистыми волосами до плеч, Фросину младшую сестру Катюку. Родные сестры были удивительно разными, как характером, так и внешне. Даже голоса их разительно отличались: Фрося обладала высоким альтом и говорила протяжно, будто, нараспев, голос Катерины же, наоборот, был низким, грудным, несколько грубоватым. В то, что это родные сестры, верилось с трудом; хотя, пожалуй, единственным сходством были их большие темно-зеленые глаза, унаследованные от их маменьки. А еще, в отличие от Фроси, Катя успешно окончила среднюю – тогда семилетнюю школу. Да в клубе на танцах младшая сестра лучше всех танцевала вальс и никогда не стояла возле стенки в ожидании, когда ее пригласит на танец тот или иной кавалер. Потому, вероятно, Фрося и злилась и, уловив удобный момент, не лишала себя удовольствия обидеть свою младшую сестру.

Сама же мама тоже злилась на Фросю, особенно после того, как пару лет назад отец с Анькой побывали в Калининне, когда она выдавала замуж свою дочь Раису. Тогда, вернувшись со свадьбы домой, отец едва ли не с порога начал, было, делиться впечатлениями о поездке:

– Ну, вот, и пропили о то Райку. Нихай теперь о то живуть молодые. Привет тебе ж о то попередавали усе: родня ж твоя засратая, та земляки усе Муйнацкие. И усё бул о б хорошо, если б твоя донюшка о то не подосрала...

– Та она такая же твоя, как и моя! Ну?! Так в тебя же вся и пошла – такая же пакостливая. Ну и чего там она отчибучила?

– Та ободрала жеш, та сожрала за день до свадьбы, каки-то там шарики сладкие с Райкиной о то хфаты! А потом спряталася у кладовке и там о то понасвинячила...

– Как насвинячила?

– Та продукты, шо к столу оне понаприготовляли – их и перепакостила, та ще и холодец собаке отдала!

– Прямо собаке – и весь свадебный холодец?

– Та не-е, тока одну о то чашку. Так отдала же! Шоб та ее не покусала, када она выползала с того погреба.

– А сам-то ты, куда смотрел? Де был, када она пакостила?

– Та я ж к Ваське Самойленко за гармошкой о то ходил! Девaxe вже восемь лет, а ей шо о то нянька нужна? Сама ее распалючила, шо я и не знал, как там людям у глаза смотреть.

– Ага, канешна! Я ее научила пакостить... Как раз... Чё же тада эти трое так не пакостят? Говорю же, вся в тебя, та у ту Фросеньку... Теперь она мне всё выкажет... та не в одном в письме... Или, када-нибудь, вапще, все очи повыдирает за эту паразитку.

– М-да-а, ох и было ж там о то переполоху! Так шо невеста на пару с Фроською удвоём перед свадьбой от души повыли от твоей засратой донюшки Пороть ее надо, как о то Сидорову козу! Опозорила меня так, шо... надолго теперь о то хватить...

– Та тебе то че – какой с тебя спрос? Это мне позорище теперь... Не надо было ее с тобою отправлять... Та и они тоже – хороши! Тоже мне, из-за тарелки холодца и вой подымать?

– Та оне не как за холодца о то ревели, а из-за хфаты: Фроська сдуру Райке ляпанула, шо **кака**-то там примета о то плоха, тада и началось там...

– Пф-ф-ф... Та какая там, в сраку, примета?! Дядины дуры они – шо стара, шо мала! То ли они там от жары совсем поздурели на хрен...

– Та не матюкайся жеш при детях!

– А «хрен» не матюг! Вон скока хреняки у в огороде поразраслося! Ну? По твоему, всё это – матюги повыростали? – с трудом сдерживая улыбку, сказала мама.

– Приставляю, как ты, о то без меня тут загинаешь... Ну, Анька, усё-о, теперь хватить... Теперь твоя песенка спета: больше никада тебя, засранку, и никуда у гости не возьму.

– А ты видал Фроськиного Мишку, которого она в Ташкенте у детдоме взяла?

– Та видал... Он, де-то... на год младше нашей Аньки о то. И говорил жеш о той Фроське: на гада ты о того калмычонка, та о такого ще и большого о то узяла? Это ж у кого своих нету – усыновляют, а у тебя жеш, Васька с Райкою, вон, свои. А Мишка тот— раззявкуватый какой-то. Та у него ж еще, шо-то с головою було: три операции, говорить, ему на голове делали у Ташкенте. Та ей жеш хто тока не говорил, шо он усё рамно о то долго не протягнуть, шо тока намучиитца она с им...

– Ну и шо?..

– Гну... Она ж всем тока огрызайтца, та заладила, шо ей после о тех операций еще жальче его стало...

– И че ее, вапще, черти-то понесли у тот детский дом?

– Так Мишка ж родный сын ее последнего – калмыка о того – Николая Конюха! Его жеш бывша жинка еще у роддоме Мишку оставила.

– О, Гос-с-споди-и...

– Вот, тебе и Господи... Но, кака Фроська хороша хозяйка, язви ее! Слышь, Катя? У хати в неё – о така чистота, шо тебе и не снилося. Постелька чистенька, полы чистеньки, занавесочки красивы висять, кружева усякие там о то на подушках та на койках... А готовить как! А стряпать! И в огороде жеш порядок у ее! А варенья та соленьев – полный о то погреб! А кастрюли та сковородочки как и – все чистеньки, шо аж блистять! А вино како она делать, м-м-м... И усё ж, о то успеваить! И сама ж она о то чистенька та причесана, не то шо ты, стара карга... Косу она щас свою, как-то, на голове о то наматуить... и красиво так, язви... А ты-ы... Ты жеш, пошти на десять лет о то моложе Фроськи, а чухысрака, язви, ще та...

И тут начиналось... Потому как мама вообще никогда не воспринимала никакую критику в свой адрес, ее реакция была незамедлительной:

– На хер, тада ты меня, такую чухысраку брал?!

– Та када я тебя увидал, рази ж ты была о такую Гашкою? О такую Салапэтею?.. Тада ж на тебя тока усе и заглядывалися, язви... И я ж, дурачок, о то – клюнул...

– Да, если бы ты не завез меня в свой долбанный Муйнак, рази бы я такую стала?!

Чаще в подобного рода перепалках отец в большей степени раздражался, но иногда, в зависимости от настроения, он смягчался, переходил на более игривый тон и привлекал к разговору детей:

– Анька, та давай, вашу засрату маму о то нагоним?

– Не-ет, не надо. А кто нас кормить тогда будет? – машинально отвечала Анька.

– Толька?! Давай нагоним нашу... той, вашу маму?! На шо она нам тока нужна, о така стара карга? – Продолжал развлекаться отец. – Тока кормить ее зря...

– Не-ет, не нагоним, мама не старая, – говорил Толька.

– Ольга, ну шо, нагоним о то вашу, дорогую та засрату маму? – продолжал он с нарастающим сарказмом.

– И нет! Ни за что!! – злилась Олька на отца.

– Паука, тока ты, сынок, своего батько о то поддержишь, ну шо, нагоним о то маму? На гада она нам здалася о така старюча? А шо, приведем о то молоденьку узбечку или лучше – кореяночку, и будет она нам о то лепешки печь, га, сынок?

– И не-ет, мама хорошая и молоденькая! – Павлик подходил к маме, и, уткнувшись в подол, стоял, пока отец не прекращал свой очередной спектакль.

Глава VI

Короче говоря, остановилась семья в Калинене не у близких, а у весьма дальних родственников, причем, дальних настолько, что отец сам не мог толком разобраться в родственной связи с фамилией Токаревы.

Детям повезло, что кроме бабушки с дедушкой, их дочери и зятя, в семье Токаревых был единственный ребенок – девочка по имени Вера, Анькина ровесница.

Первым делом Вера повела детей в огород, и они впервые увидели, как растет виноград, а заодно и наелись его до отвала. Потом они ели арбузы, а тщательно обглоданные арбузные корки развешивали в саду на ветки фруктовых деревьев, «чтобы эти корочки дали еще один урожай». Словом, чтобы арбузы вообще никогда не заканчивались. Веру сначала эта идея очень развеселила, а потом она показала, что и как в их огороде растет и как все это называется.

Уже на следующий день им пришлось покинуть эту родню, потому как мама сказала, что тем и самим тесно, а разгневанный отец высказал на этот счет свое мнение:

– Пойдем отсюда к гадам собачьим! На гада оно здалось, на усё о то смотреть? О то ж оне не смогут и дня – ни жрать, ни срать, пока о то не понапьются та не подерутся, чертовы алкаши! И скубуются, и скубуются, язви! Усё шо-то не поделят...

И перебралась семья к другим землякам по Муйнаку, тоже очень дальним родственникам: бабушка Наташа по фамилии Медведева была мачехой тети Кати, жены папиного брата Ивана. Проживала баба Наташа на соседней улице, недалеко от Токаревых, с родной дочерью и с уже совсем взрослой внучкой. Дочь звали тетей Верой Зориной, и работала она уборщицей в Калининской школе. А внучка называлась Полиной Васильевной Зориной, которая в этой же школе преподавала точные науки.

В отличие от Токаревых, в доме у бабы Наташи было чисто, уютно, тихо, никто не напивался, не матерился, в общем, не буянил. И все они были искренне добрые, очень ласковые и гостеприимные. А сама баба Наташа с первого взгляда внешне напомнила Ольке весьма симпатичную бабушку, что была на рисунках в книжке про Красную Шапочку. Глаза у бабы Наташи, в отличие от других, ранее встречавшихся Ольке бабушек, лучились мягкой добротой, голос был мягкий и трогательный, а красивая улыбка с белоснежными ровными зубами не могла не расположить к себе даже вечно раздражительного отца.

На следующее утро тетя Вера с Полиной Васильевной пошли на работу и повели с собой Аньку и Толика в школу. А баба Наташа, одолжив отцу двести рублей, которые она годами с пенсии откладывала себе на похороны, велела им с мамой походить по поселку и подыскать продающийся дом. Сама же баба Наташа оставалась с Олькой и Павликом управляться по хозяйству. Пока она хлопотала у плиты, Ольга читала Павлику и бабушке книжки, которых, благо, в их доме было целое множество. Баба Наташа очень внимательно слушала, а некоторые книжки просила прочесть несколько раз подряд, что Ольга и делала с величайшим удовольствием.

Еще баба Наташа научила Ольку с Павликом игре в прятки, которая настолько пришлась им по душе, что просто дух захватывало. Так втроем они весело играли, и в один момент, когда настал Олькин черед искать, она, открыв глаза, увидела младшего брата, стоявшего рядом с ней с закрытыми глазами. Оказалось, что Павлик был уверен, что, если он сам ничего не видит, значит и его никто не увидит, и поэтому – ни за что не найдет.

Поскольку баба Наташа так ловко пряталась, что Ольке, и тем более Павлику найти ее было чрезвычайно сложно, первая, упростив правила игры, предложила детям искать её вдвоем. И, тем не менее, находить бабушку им с каждым разом было все сложнее. Однажды они обыскали всю усадьбу, и не найдя бабы Наташи, не на шутку испугались и разревелись. И их счастью не было предела, когда бабушка, улыбающаяся, живая и невредимая, разве что

с испачканными руками вылезла из погребца. Как оказалось, она в подполе настолько увлеклась переборкой картошки, что нечаянно забыла про игру.

Олька с Павликом не без удовольствия вместе с бабой Наташей кормили кур, собирали с грядок какие-то остатки последнего урожая, подметали двор и мыли посуду.

Как-то раз Павлику захотелось продолжить игру в прятки, а бабе Наташе и Ольке было необходимо еще перебрать и перевязать гору лука да выбить из созревших мочалок семена. Но и из этой ситуации бабушка нашла потрясающий выход:

– Давай, сначала, Павлуша, прячься ты, а мы закроем глаза. А потом мы тебя вдвоем будем одного искать, хорошо?

Павлик стремительно «прятался» под лавку, что в метре от кучи с луком, и с закрытыми глазами торжественно объявлял:

– Кто не спрятался – я не виноват! Я спрятался! Ищите же меня быстрее, ну-у!

Олька с бабушкой понарошку долго «искали» Павлика. А едва, почуяв, что тому порядком надоело сидеть под лавкой, зажмурившись, тут же «находили» его.

Бабе Наташе очень нравилось, как Олька читала стихи, потому как она по несколько раз просила ее их рассказать. И Олька делала это с не меньшим удовольствием, потому что до бабы Наташи к ней еще никто не проявлял в такой степени интерес, и не выказывал неподдельный искренний восторг относительно ее успехов.

Во второй половине дня приходили из школы Анька с Толиком, и баба Наташа угощала всех то пирожками с персиковым или виноградным вареньем, то голубцами, завернутыми в виноградные листья, то лапшой с курицей, словом, всякой вкуснятиной, о которой они раньше и не слышали никогда. И как наполнялись бабы Наташины глаза радостью, когда дети, отобедав, не сговариваясь, благодарили: «Спасибо бабе Наташе! Спасибо тете Вере! Спасибо Полине Васильевне! Спасибо Боженке!»

После ужина, когда Полина Васильевна в своей комнате готовилась к завтрашним занятиям в школе, баба Наташа с тетей Верой и гостями дружно сидели за столом в гостиной и играли в лото. Первое время баба Наташа подсказывала гостям правила игры, а молчаливая, но всегда улыбающаяся тетя Вера все время смеялась с любой реакции новичков, иногда даже до слез. Ольке безумно понравилась эта игра с маленькими красивенькими бочонками, и она с нетерпением ждала каждый вечер после ужина, чтобы хотя бы просто подержать в руке эти гладкие деревянные бочонки с красными циферками в кружочках по обеим сторонам каждого.

В первый день их пребывания у Медведевых-Зориных Олька узнала, для чего необходим каждой семье Красный угол, который называется так потому, что он самый красивый и самый главный в доме, и живет в нем Сам Боженка. И баба Наташа ей рассказала, кто именно изображен на иконах, которых в этом таинственном углу было, как показалось Ольке, великое множество. Правда, уловила Олька лишь название одной, самой большой иконы – Пресвятой Богородицы с Младенцем, поскольку ее мысли были заняты только тем, что баба Наташа вот-вот скажет: «А это вот – Ангел... ну, который всех оберегает, всем помогает и тебе, Олька, конечно же, тоже...». Но, так как ничего такого из уст бабы Наташи не прозвучало, Олька рассказала ей, что только на тот момент знала о том, как к ним давным-давно, когда она только родилась, прилетал настоящий Ангел. На это баба Наташа безо всякого удивления сказала:

– Да, Оленька, Боженка всех любит, вот и посылает нам Ангелов.

– И меня любит?!

– А то! Говорю же: все-ех!

– Баба Наташа, а у вас случайно нету... ой, а иконка с Ангелом бывает?

– Когда вырастешь, Оленька, у тебя обязательно будет и иконка с Ангелом Хранителем.

Только никогда не забывай Боженку...

– М-гм, – согласно кивнула Олька, – А где же... ну, когда вырасту, где я ее возьму?

– Если не забудешь Боженку, Он тебе и даст все, что ты не попросишь у Него.

- Да-а? Нет, баба Наташа, честно?!
- Честно, – засмеялась баба Наташа.
- Честно-при честно?
- Да ты потом сама и увидишь, моя хорошая, что правду говорю... – вдруг серьезным тоном задумчиво промолвила баба Наташа, глядя невидящим взглядом в Олькину сторону, – только не забывай Боженьку. Только не забывай...
- А вы, что ли, забыли попросить у Него Ангела?
- Да не забыла. А просто Он мне пока что не счел нужным, наверное, дать такую иконку.
- О-го-о... А мне тогда, тем более, не даст Ангела до самой старости, пока не умру.
- Это почему же?
- Потому что я плохая.
- И с чего ты это взяла-то?
- Потому что меня никто не любит.– С грустью пролепетала Оля и еще тише добавила, – никто из людей...

Почти сразу Оля заметила, что из глаз бабы Наташи и от нее самой исходило какое-то необыкновенное свечение и невероятное тепло. Сначала она всё не могла понять, почему чувствует это тепло только от бабы Наташи и больше ни от кого?.. А вскоре, после некоторых размышлений, ее вдруг осенило: «Теперь я поняла, что не только из-за красивых зубов баба Наташа такая добрая и светящаяся... и вовсе не оттого, что у нее внутри есть лампочка, а потому что у нее есть Красный угол, потому что Боженька всегда с ней! Хоть бы наша мама, когда постареет, стала бы такой же красивой и мудрой бабушкой...» – мечтала она, краем глаза наблюдая за бабой Наташей и мамой, которые, мило беседуя, рассматривали какие то фотографии.

На ночлег гости располагались по установленному бабой Наташей порядку: отец, мама и Анька с Толиком на матрацах, расстеленных на полу. Павлик – с тетей Верой, а Оля – с бабой Наташей. Самой последней в доме ложилась, как правило, баба Наташа. Благословив перед сном детей и пожелав всем спокойной ночи, баба Наташа гасила свет, велела Олье закрывать глазки и нагреть ей постельку, а сама надевала длинную до пола ночную рубашку, зажигала на полочке в Красном углу лампадку и долго-долго молилась... Так долго, что Оля никогда не слышала, как баба Наташа ложилась к ней в нагретую постель. «Я тоже, когда вырасту, буду, как баба Наташа в Красном углу и в такой же длинной ночнушке разговаривать перед светящимися иконами с Боженькой, с Богородицей и с моим Ангелом...» – засыпая, мечтала она.

За эти несколько дней Оля привязалась к бабе Наташе и очень полюбила ее, сама пока до конца не понимая, что причиной этому служили, на первый взгляд, казалось бы, совершенно обыденные и незначительные поступки бабушки. Например, увидев, как Толька во дворе дразнит и задирается к Олье, а потом и вовсе, размахавшись кулаками, разбил ей губу до крови, она легонько взяла Тольку за ухо и так же, без крика и раздражения, объяснила обидчику, что он должен защищать младшую сестру, а не обижать. После этого баба Наташа поставила Тольку в угол, и велела ему там стоять до тех пор, пока он не попросит у Ольки прощения. Обработав Олькину ранку приятно пахнущим маслом из лампадки, она взяла ее к себе на колени и, они, медленно покачиваясь, сидели и просто молчали. Тогда у Ольки впервые в жизни почти мгновенно прошла боль, она ощутила себя защищенной, почувствовала невероятное тепло бабы Наташиных рук и была счастлива, как никогда: «Из всех людей только у бабы Наташи такие добрые, умные и ласковые глаза... И только у бабы Наташи такие мягкие руки... У бабы Ариши, конечно, тоже... просто бабы Наташины чуть-чуть помягче».

Полина Васильевна, физик-математик по образованию, и по призванию истинный педагог, мгновенно определила как незаурядные способности начинающих школьников Аньки

и Толика, так и оценила скорость чтения и объем выученных наизусть книжек дошкольницы Ольки:

– Какие же вы молодцы! – прозвучала из ее уст искренняя похвала.

С самого начала их совместного проживания Полина Васильевна умудрялась выкраивать свое личное время так, чтобы в непринужденной обстановке легко и весело обучать всех четверых и как правильно произносить те или иные слова, и на какой слог следует ставить ударение. Даже отцу и маме в весьма деликатной форме, полушутя, полусерьезно она подсказывала, чтобы те в пример детям старались хотя бы не «гэ-кать»:

– Понимаете, дядя Гаврюша, в Калининe сейчас подавляющий процент немцев проживает, и...

– Ну, так и шо с того? – нетерпеливо, но на удивление доброжелательным тоном перебил отец Полину Васильевну. – И шо, теперь нам, старикам, позаклеивать рот изолентою и не разговаривать о то совсем?

– А то, дядя Гаврил, что немцы не только не «гэ-кают», а и говорят по-русски лучше нас – русских.

– Не, Полинка, мы вже – старики, шоб нас о то переучивать, – не собирался сдаваться отец. – Нас вже не попереучивашь о то, бо с нас вже спросу немае...

Баба Наташа с тетей Верой дружно засмеялись. Они всегда смеялись, что отец бы ни сказал.

– В тридцать пять лет и – старые? Гавриил Петро-ович... – иронично улыбаясь, развела руками Полина Васильевна.

– Та мне, Полиночка, вже не тридцать пять, а целых тридцать шесть о то! А о той старой карге, шо у в углу сидить шьётъ – и того больше. Скока-скока тебе годиков, дорогая, о то стукнуло?

– Та не твоо ума дело, – подала голос притихшая, было, мама, занятая починкой какой-то одежды.

Баба Наташа с тетей Верой засмеялись еще громче.

– М-гм, бабе Наташе, значит, уже шестьдесят четыре, и она все слова произносит правильно ... – подавляя улыбку, сказала Полина Васильевна. – М-м? Что на это скажем, уважаемый дядя Гаврюша?

– А то, шо баба Наташа твоя – голубых кровей о то. А почему ж тада Вера гэ-каить, – мать твоя, га? Шо ты на это скажешь, дорогая?

– Да потому, что мама такая же Муйнацкая, как и вы, – улыбнулась Полина Васильевна. – Но она и постарше вас аж на три года. Кстати, она уже в основном-то правильно всё произносит, только вот гэ-кать, да, еще не совсем отучилась. Она, видите ли, считает, что техничке можно иногда и по-гэкать. Да, мам?

– О то ж... – засмеялся вместе со всеми отец. – Так и я жеш простой шоферюга и институтов о то не кончал.

– И, всё равно, дядя Гаврюша, приятного будет мало, если ваших детей в школе дразнить будут оттого, что они – русские, а говорят, как попало. Да и на родительском собрании вы же не будете молчать, словно воды в рот набрали?

– Та каки там оне о то русские, када усе хохлы! А на собрания нихай ходить о та стара. Ищё я на о те собрания не ходил... Ну ты, Полинка, как скажешь, как о то у лужу пёрднишь!

Мама, ловко откусив толстую нитку, как могла делать только она, подключилась к разговору более активно:

– Да-а, Полинушка, на все собрания придетца ходить, канешна, мне. Пойдет он, как раз... Я за другое думаю, Полина: моя маменька всю жисть говорила культурно, но она-то из дворян была. И мы ж, пока не пошли у школу, говорили так же, как она. Вот и у той жеш школе,

а потом и у колхозе, та еще и от этого «славнецкого» Журбенко кой-чиво поднабралася, вот и заговорила, как и все. Так шо, Полина, не морочь голову ни себе, ни...

– Тем более, тетя Катя: если вы не с молоком матери стали коверкать слова, значит вам еще проще будет переучиться. Здесь народ говорит, слава Богу, нормально. Вы же не хотите, чтобы только ваших дразнили в школе да на улице за то же гэ-канье?

– Та научатца и наши у школе культурно разговаривать, никуда не денутца, если не захотят, шоб их дразнили.

– А кто по-началу будет за них краснеть на школьных собраниях, м-м? Да и самих вас на работе на первом же партсобрании на смех поднимут за вашу такую речь. Вы же оба – члены партии да, дядя Гаврюша?

– Ну и шо с того, шо я член? Так мы никада и не выступаем на работе на о тех собраниях, мать их... Там усегда есь кому горлопанить. Мы со старою тока и знаем, шо взносы о то плотим, та помалкуем. Тока ты ж, смотри, Полина, сама жеш не уздумай у о ту засрату партию уляпатца, не поддайся о тем гомнюкам. А то, как о то нас – дурачков силком утянули, шо теперь сделаешь шаг у сторону – расстрел...

И он, многозначительно крякнув, посмотрел на родственницу. А она, поняв, что «дядю Гаврюшу» переубедить не удастся, поспешила закончить разговор:

– Так, короче, ребята! Напишите оба на этих листочках следующее...

И, заглядывая в какой-то свой институтский конспект, Полина Васильевна продиктовала родителям несколько предложений, веля отцу и маме расставить, кроме знаков препинания, еще и ударение над каждым словом.

Олька впервые в жизни видела родителей такими укрощенными, которые послушно, аки школьники сидели рядышком и старательно писали под диктовку учительницы. Отец в процессе отпускал шутки о каком-то «ликбезе» или, к примеру, о том, что если бы его сейчас увидел кто-нибудь из земляков... Иногда он полностью погружался в роль нерадивого ученика и задиристо переспрашивал у Полины Васильевны, как звучит только что продиктованное ею слово, нарочито коверкая его. Баба Наташа с тетей Верой смеялись до слез, а дети с любопытством наблюдали за происходящим.

Впрочем, урок с Полиной Васильевной проходил и в самом деле так забавно, что пока родители писали диктант, Ольке со страшной силой тоже захотелось в школу: «Я тоже в школе буду шутить, как батя, чтобы все смеялись. Теперь я поняла-а, как надо шутить: надо пошутить, но самой даже не улыбаться, а терпеть! Но почему тогда баба Наташа с тетей Верой смеются и, когда мама про батю говорит не шутки, а ругает его? И почему тетя Вера смеялась, когда я у нее спрашивала совсем не смешные вопросы, например, про наводнение в Калинин или про то, как они тут без снега живут? Или почему баба Наташа вытаскивает такие красивые свои зубы и кладет их в стакан перед сном? Вот бы у нашей бабы Ариши тоже были бы такие прикрепляющиеся зубы... Да и я, когда пойду в первый класс, чтобы не ходить, как Толька сейчас, без зубов, точно такие же зубы буду себе днем прикреплять, а ночью в стакан их... ой, лучше под подушку спрячу... Или почему, когда про немцев в Калинин спрашивала... ну, что здесь *такие же* добрые немцы, как та тетенька-немка в Атбасаре, которая мне варежки подарила, а не как на картинках про войну – в касках с автоматами или с гранатами ходят? Почему только она с этих вопросов смеялась? Может быть, можно смеяться не только с шуток, а просто, когда покажется что-нибудь смешное? Как правильно и лучше всего смешить?...» – увы, чем больше она размышляла, тем больше заходила в тупик.

Тем временем Полина Васильевна, проверив диктант родителей, не скрывая удивления, похвалила обоих «ликбезевцев» за проделанную почти без ошибок работу. Отцом она прямо-таки восхитилась – за его красивый почерк и за то, что тот в слове «ходатайство», в отличие от мамы, поставил ударение правильно – на второй слог. Затем, на той же ноте – весело и задорно, она обратилась ко всем, без исключения, присутствующим:

– Итак, запомните, ребята! Все без исключения слова надо всегда произносить правильно, в том числе и не часто употребляемые в вашем обиходе, как, например: в словах «квартал» и «звонят» ударение следует ставить только на последний слог, понятно? И, начиная от бабы Наташи, заканчивая Павликом, «ребята» наперебой отвечали студентке-заочнице первого курса физмата:

– Понятно, солнышко.

– Та шо ж тут о то непонятного?!

– Канешна, родненькая, панятна...

– Ага, Полина Васильевна, мы поняли!

– И мне – и мне тоже понятно, да-да-да-а!!

Если, к примеру, в период занятий трехлетнему Павлику становилось вдруг скучно и хотелось играть в прятки, Полина Васильевна с легкостью позволяла ему это делать: Павлик мгновенно «прятался» под скамейку и просил его «срочно» искать. А Полина Васильевна, не отрываясь от игры «в школу» со старшими, весело и легко «находила» Павлика:

– А я знаю, где наш Павлинчик спрятался!..Знаю, зна-аю... И я, кажется, нашла его... – сидя на месте, она топала ногами, имитируя шаги.

– Ну, где я?! Где, а?!.– закрывая пальчиками глаза, нетерпеливо пищал из-под лавки Павлик.

– А Павка-малявка

Залезла под лавку!..

А Павка-малявка

Залезла под лавку... – Полина Васильевна заглядывала под лавочку, и только тогда, «наконец-то найденный» и весьма довольный Павлик выползал из любимого укрытия.

Еще в один из таких наисчастливейших в жизни детей дней Полина Васильевна подарила Павлику целых три коробки различных кубиков, из которых невероятно счастливый Павлик складывал по приложенным к ним картинкам изображения персонажей из разных сказок, а так же виды Московского Кремля с праздничным салютом.

Так же за разговорами они узнали хотя и незначительные, но все же кое-какие подробности из истории бабы Наташиной семьи. Оказалось, что ее отец был добрым, умным, отважным и настоящим атаманом донских казаков, которому сам Император России лично вручал награду за заслуги перед Отечеством. Но уже в первый революционный год он был изощренно замучен и растерзан большевиками на глазах своего же войска, уже разоруженного, попавшего за городом в организованную «братьями» ловушку. Расправа и над оставшимися без атамана воинами не замедлила свершиться тут же. «Красные» строчили по отряду казаков сразу из нескольких пулеметов. Когда с ними было покончено, «под раздачу» попали их семьи, мирно жившие до этого рокового дня в Александровске-Грушевском городке Ростовской губернии. Таинственным образом уцелев, семнадцатилетняя тогда баба Наташа, на глазах которой зверски, как жену атамана, убили мать, бежала из родных мест с горсткой, чудом уцелевших жен и детей погибших казаков. Они потом еще долго скитались, где придется, пока не очутились в северных казахских степях. Обосновавшись в Большом Муйнаке, двадцатитрехлетняя баба Наташа вышла замуж за своего земляка Василия Зорина. У них в тысяча девятьсот двадцать пятом году и родилась дочка Вера. В самом начале Великой Отечественной войны Василий погиб, и в сорок пятом баба Наташа вновь вышла замуж – за фронтовика, потерявшего на войне жену-санитарку, оставшегося с двумя девочками-подростками, односельчанина Назара Медведева. Так, кстати говоря, баба Наташа и оказалась мачехой девочек, одна из которых по имени Катя, впоследствии станет женой старшего брата Гавриила, Ивана.

В начале сорок седьмого года у сорокашестилетней бабы Наташи с дедом Назаром родился ребенок, который, правда, умер еще в недельном возрасте. И так уж сложилось в их семье, что двадцатилетняя тогда тетя Вера почти что одновременно (с разницей в какие-

то полторы недели) со своей матерью родила тоже – дочку Полину. По каким-то причинам, (о коих в их семье не было принято говорить), Полине дадут фамилию и отчество не родного отца, а отца тети Веры – первого бабы Наташиного мужа Василия. А фамилию «Жуков», так и не доставшуюся внучке от биологического отца, баба Наташа озвучит ей лишь в день ее совершеннолетия, когда его фамилия для Полины уже не будет значить ровным счетом ничего.

Сразу после родов тетя Вера, как и полагалось в послевоенное время, была вынуждена выйти на работу в колхоз, где еще с довоенных лет трудилась от зари до зари и на разных должностях – от слесаря-ремонтника до комбайнера. Меж тем баба Наташа, похоронив свое новорожденное дитя, но поскольку у самой еще было грудное молоко, кормила Полину своей грудью, заменив внучке мать почти в полном смысле слова. Дед Назар же заменил тете Вере и Полине (причем тоже во всех смыслах) отца, потому как любил их как родных. Кроме того, что дед Назар от природы вкупе с могучим телосложением обладал богатырской физической силой, он был не менее силен духом, необычайно ласковым, добрым и мудрым.

В апреле пятьдесят второго, словно гром среди ясного неба, грянул приказ Сталина, непосредственно касающийся вечно гонимых переселенцев, невыполнение которого приравнивалось к наказанию за измену Родине, о последствиях чего они уже знали не понаслышке...

Уполномоченный из райцентра по уши в грязи и с папкой подмышкой, которого сельчане тут же «окрестили» «упал намоченным», зачитав на сходе сельчан приказ вождя пролетариата, сказал, что, мол, северные казахские степи они, Слава Богу, освоили, подкормив страну хлебом, теперь же их силы требуются, чтобы одеть советский народ. А с этой целью им необходимо срочно отправляться на юг – для орошения и разработки пустынных и безводных земель под хлопок.

– ...Ну, раз вопросов так ни у кого и не возникло, обязан отъезжающих предупредить: на сборы отпущены ровно одни сутки! – в довершение сообщил «упал намоченный», направляясь к застрявшему неподалеку от села грузовику, который тщетно пытался вытащить из глубокой колеи трактор.

Как оказалось, первыми должны были туда отправляться старики, женщины и дети, поскольку молодым, в числе которых оказался и Гавриил, предстояло здесь на целине посеять и убрать до сентября еще один, но последний урожай. Остаться в Муйнаке и не без барабанного, правда, боя власти разрешили лишь семьям, в которых было семеро по лавкам, а кормилец вернулся с войны инвалидом, как, к примеру, брат Гавриила – Иван.

Заколотив крест-накрест свои обжитые хатёнки, и едва сдерживая рыдания, взяв в охапку детей да прихватив с собой на первое время кое-что из продуктов и сподручного скарба, они с горем пополам – из-за весеннего бездорожья, добрались до атбасарского железнодорожного вокзала, где их и погрузили в товарняк с вагонами для перевозки скота.

Эшелон с девятнадцатью вагонами, в каждом из которых располагалось по несколько семей, двигался в конечный пункт назначения ровно восемнадцать суток...

Ни баба Наташа, ни тетя Вера на уговоры рассказать о том, *как* они ехали столько много времени в товарном поезде, не поддавались, и вообще, наотрез отказывались говорить. Только Полина Васильевна, которой на тот момент едва исполнилось пять, основательно порывшись в своих воспоминаниях, кое-что поведала детям.

Дабы в пути не умереть с голоду, они на единственной в вагоне «буржуйке» варили похлебку из прихваченных впопыхах круп и семенной, не стодившейся им нынче, картошки, а из муки делали затирку. Мужики для этой, в том числе, цели на больших станциях добывали воду. По ночам семьи отгораживались импровизированными «ширмами», расстилали на сено кошму и под стук вагонных колес засыпали. В качестве уборной им служило ведро в углу за мешковиной, из которого дежурный по установленному самими попутчиками графику, периодически выплескивал между станциями скопившееся «добро».

Самым ярким воспоминанием у Полины Васильевны был некий дед Емельян по фамилии Белозеров, с которым она с первого же дня очень подружилась. Возможно, их в первую очередь сближало то обстоятельство, что из всего количества попутчиков в их «купе» веселый и жизнерадостный дед Емеля, которому перевалило хорошо за семьдесят, был самым старым, а Полина – самой младшей. С самого начала пути дед Емеля почти всю дорогу не выпускал из рук свою старенькую балалайку, а когда кто-то из женщин вдруг начинал тихонько всхлипывать, сетуя на ситуацию, в которой они оказались, он, тихонько наигрывая мелодию повеселее, говорил, будто самому себе, да присевшей на сено у его ног Полине:

– Лишь бы не было войны... Такую войну пережили, такой голод и мор выдюжали, а это – по сравнению с мировой революцией – тфу! Брат ведь брата теперь не убивает... Да и самолеты не бомбят, танки не стреляют, дороги не взрывают. И кушать, Слава Господу, есть чего. Та даже куда оправляться вон есть... Правда, Полинка?!

– Правда, деда! – радостно поддакивала Полинка. – А что такое «оправляться»?

– А переваренную пищу есть куда девать.

– М-гм. Давайте, дедушка, дальше!

И дед продолжал:

– Нас же не в тюрьму и не в концлагерь везут, и не на чужбинушку гонят, а на юг и на добрые дела. Здесь с помощью Божией разробыли земельку под хлеб? Разробыли! Значит, и там разробым под хлопок. И там нас Господь не оставит, коль оставил жить после такой-то войны. А будет хлопок – будет и *на что* покушать и *что* надеть всем людям. Да, Полинучка?

– Да, деда!

– Вот и Полинка со мною согласная. Сколько ты хочешь платьев, Полинка?

– А сколько можно?

– Да сколько захочешь!

– Я хочу... А можно целых два?! – Подпрыгнув, вскрикнула Полинка, и, загибая на руке пальчики, немного подумав, добавила. – Ой, нет, целых три: одно, чтобы дома носить, второе, ну, которое еще красивее – в Храм, а третье, тоже красивое – в гости к кому-нибудь ходить, и доберегу его для школы.

– Так, что, братья и сестры, считай, у нашей Полинки уже три платья из чистого хлопка имеются, ну?! А вы нюни пораспускали! Эх-ма...

Потом дед, будто устав играть, просил Полину читать, якобы, одному ему молитвы, которых она, благодаря бабе Наташе, знала целое множество. Когда молитвы закончились, а Полине хотелось еще и еще что-нибудь рассказать так полюбившемуся деду Емеле, она вдруг предложила:

– А давайте я вам стишок теперь расскажу!

– Какой стишок?

– Про Ленина.

– Ой, Полиночка, давай-ка лучше ты отдохни маненько.

– А я и не устала вовсе! Ну, послушайте. Он не такой уж длинный...

– Нет, давай стишок завтра, путь еще долгий. А сегодня я еще поиграю, а ты спляшешь.

Назавтра, когда у Полины вновь иссяк запас молитв, она вновь повторила свое предложение о стишке про Ленина, на что дед Емельян ласково ответил:

– Да я уж и так хорошо отдохнул, Полиночка, пока ты молитвы читала. Поэтому я лучше поиграю, а стишок оставим на завтра.

Но и на третий день именно в конце самой последней молитвы дед, как назло, вздремнул, а Полина не отважилась его побеспокоить на тему стишка. И в каждые последующие дни после прочтения Полинкой молитв, стих про Ленина оставался не рассказанным, потому как дед всякий раз тонко и изящно уходил от его прослушивания, находя какие-то причины. Полина, будучи уверена, что она-де не завтра, так послезавтра таки расскажет этот стих, вовсе не оби-

жалась на деда. Единственное, что ее, пожалуй, смущало, то это то, что никто из попутчиков не проявил и намека для того, чтобы подбить деда Емельяна, дабы тот, наконец, позволил ей это сделать. Безмолвствовали на этот счет даже самые родные: и мама Вера, и баба Наташа, и дед Назар.

На восемнадцатый день Поинка в восемнадцатый раз предложила деду:

– Ну сегодня-то можно рассказать, а, дед Емеля?

– Чего рассказать-то, мое Солнышко? – сделал вид, что запомнил, приложил ладонь к уху дед.

– Да стишок же про Ленина!

– Так мы жеш уже приехали, Полинушка!

– Куда приехали? Мы ведь еще едем... ну, катимся же еще вовсю...

– А-ну, загляни-ка сюда.– Дед прислонил головку девочки к одной из щелей вагона, – ну, видишь? Это и есть Ташкент – город хлебный!

– Ой, так быстро мы приехали, что я даже не успела рассказать стишок... – тихо пробормотала Поинка, не отрываясь от щели.

– Так только с помощью твоих святых молитв мы и доехали так скоро! А стишок тот... его и в школе будет кому рассказать... – лукаво усмехнувшись, сказал дед.

– А здесь школа-то есть?

– А как же!

– Большая? Как в Муйнаке?

– А может, даже и побольше муйнакской... построим. Давай, Полинушка, начинай-ка поновой молитвы и мы все вместе помолимся. Потому как выгружаться будем еще километров через семьдесят.

– А семьдесят – это много?

– Да нет, это в тыщу раз меньше, чем проехали.

И Полина с особой торжественностью начинала петь:

– Отче Наш! Иже еси на Небеси!

– Да святится Имя Твое! – подхватили остальные попутчики, провожая взглядом предпоследнюю на своем пути станцию. – Да приидет Царствие Твое! Да будет Воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Высадили их в голой степи с верблюжьими колючками да перекасти-поле, где их приезд, вместо обещанного жилья, поджидали лишь вбитые в растрескавшуюся землю колышки, служившие разметкой участков, на которых им самим, наделав самана, еще предстояло построить дома, что произойдет не ранее, чем через год.

Несмотря на отсутствие в радиусе километров трех а то и четырех саксаула для разведения того же костра, где они могли бы приготовить какую-то еду и вскипятить воду, главным спасением для них тогда являлся уже имеющийся канал, вырытый заключенными незадолго до их приезда. Правда, расположен он был аж в трех километрах от места их непосредственного дислоцирования, куда приходилось ежедневно и не по одному разу на дню ходить за водой. Поскольку размещение переселенцев близ канала карался не иначе, как – шаг в сторону – расстрел, они и были вынуждены первым делом бросить все свои силы на то, чтобы с помощью одних только лопат, вручную рыть к спасительной воде отводной арык. Лишь через год у них в Калинине появится, не по щучьему, конечно, велению, но своя настоящая водонапорная башня с более или менее нормальной питьевой водой из скважины.

А пока что они вырыли землянки, соорудили временки из камыша и глины и принялись изготавливать для своего будущего жилья саман. И уже осенью пятьдесят третьего к ним в поселок из Ташкента прислали учительницу, которая, пока строилась школа, вела уроки с первого по четвертый класс прямо в семьях, где и ребятни было большее количество, и позволяла площадь только что ими сооруженного, а, порой, еще недостроенного жилья.

У одних хозяев учительница собирала первоклассников, в числе которых была уже шестилетняя Полинка, в другой семье, согласно расписанию, согласованному с родителями – второклассников, и так по четвертый включительно.

Елену Александровну Драницыну, так звали их учительницу, сразу полюбили не только школьники, но и все жители поселка, такая она была замечательная – умная, добрая и строгая, но справедливая. И Полина еще в первом классе даст себе слово, что она обязательно станет учительницей, причем, непременно такой же, как ее замечательная первая учительница.

Несмотря на то, что война уже восемь лет как закончилась, с Полинкой в классе все еще обучались так называемые «дети войны», которые были старше ее на пять, а то и на все восемь лет. Классы уже тогда были многонациональными, основное «население» которых составляли русские, украинцы, белорусы и недавно прибывшие немцы, евреи, греки и чеченцы.

Полине исполнится десять, когда от сердечного приступа, скоропостижно скончается дед Назар, которому было всего-то пятьдесят шесть лет. Хоронили деда Назара всем селом. Не скрывали своих слез даже молодые мужчины, а некоторые из них даже плакали навзрыд. Все его так любили, что еще много лет спустя о нем ходили легенды, как о настоящем человеке, настоящем русском богатыре.

Убитый горем дед Емельян, мужественно прошедший сквозь огонь февральского переворота и недавней войны, пережил его только на девять дней...

Поскольку в поселке было привычным делом проводить совхозные собрания вместе с ребятней, Полинка была в курсе всех дел, в том числе и касательно трудодней, когда вместо заработанных денег совхоз рассчитывался с трудящимися, как правило, ячменем или пшеницей. И всякий раз день так называемой «получки» не обходился без чьих-нибудь горьких слез, когда в ведомости на выдачу «зарплаты» приходилось просто ставить свою подпись напротив слова «должен» и ни с чем уходить домой. Сначала Полинка мало что понимала в этой процедуре, а годам к десяти начинала размышлять: «Как такое может быть? Ведь мама с бабушкой работали-работали целый месяц, а им не только не дают ни одного зернышка, а наоборот они еще и *должны* остались совхозу?.. За что они должны-то? И что мы будем теперь есть? А может, это кассирша ошиблась и неправильно подсчитывает эти чертовы трудодни? Вот вырасту – стану учителем математики, и буду всех учить считать правильно...»

...Спустя недели полторы после приезда, родители купили дом с участком, прибыл из Атбасара контейнер и для семьи наступил день переселения из гостеприимного бабы Наташиного дома. Олька с невероятной грустью расставалась с бабушкой, а та, глядя ее по головке, ласково утешала:

– Не плачь, мое солнышко, вы ведь, Слава Богу, идете жить в свой дом... И от нас будете недалеко, всего-то через две улицы. Как соскучишься, сразу прибегай ко мне, хорошо? Я ведь тоже буду без вас скучать. Обещаешь прибегать проводить бабушку?

– Да-а, баба Наташа, буду ... – всхлипывая, пообещала Олька.

Они крепко обнялись на прощание, и семейство побрело в свое новое жилище. А баба Наташа, стоя у калитки, смотрела им в след до тех пор, пока они не свернули в проулок.

Скоро семья оказалась в большом и чисто выметенном дворе теперь уже своей усадьбы, приобретенной на одолженные у бабы Наташи двести рэ. Сам дом был аккуратно выбелен, все окна и двери окрашены голубой краской, и были они в разы больше, нежели в их прежнем жилище. Покрытая, не травой, а настоящим шифером крыша имела конусообразную форму, от чего дом казался невероятно высоким. Деревянные полы, ровные и гладкие, как стекло, были окрашены светло-коричневой краской с матово-розоватым оттенком. Внутренние стены и потолок тоже казались сравнительно высокими, плюс ко всему, они просто сияли голубизной, отдавая входившего ароматом свежести. Первое Олькино впечатление от их нового жилища

было потрясающе приятным, потому что, во-первых, снаружи оно очень походило на дом бабы Наташи, а во-вторых, этот дом не входил абсолютно ни в какое сравнение с их прежним жильем в Атбасаре. Да и запахи в Калинине вызывали исключительно один только восторг.

Дом состоял из двух основных больших комнат, разделенных печкой и перегородкой с дверным проемом. В одной комнате было два окна с широкими подоконниками, одно из которых открывалось с видом на сад, другое же – глухое – выходило на улицу. Во второй одно большое окно тоже смотрело на улицу, а другое, длинное и узкое – во двор. К основному дому еще была пристроена кладовка и коридор с цементным, но достаточно гладким и окрашенным полом. В кладовке стояла огромная деревянная пустая винная бочка с краником, а в коридоре находилась старенькая, но самая настоящая газовая плита, вместо так уже приевшегося керогаза.

Во дворе располагался сарай, в котором, по всей видимости, бывшие хозяева держали кур. Над верхними углами входной двери и над дверью в сарае тоже красовались декоративные лучи из синих точек, нарисованные, очевидно, так же бывшими хозяевами. К слову сказать, мама тут же раскритиковала искусство прежних жильцов:

– Тю-ю... Понамалевали синькой каки-то пятнышки, шобы мы не заметили де и че тут у них валитца... Та шоб подороже продать, а иначе, зачем еще?

– Ма, ну красиво же! И дом... ну, лучше же, чем в Атбасаре. – Попыталась возразить Анька.

– А ты знаешь, скока теперь за его нам с батей надо горбатицца? А мы ж еще и на работу не поустраивалися! Умная, нашлася... Ничего хорошего в этой мазне нету: после первого же дождя вся синька потикёт и размочет всю эту фашистскую мазню.

– А-а, здесь немцы жили... Во-от почему так чисто, – продолжила диалог Анька.

– Та тут кругом одни фашисты! Тока через дом от нас бабка с дедом... и те, по-моему, жида. Да там, чуть подальше, каки-то русские, вроде, живут.

– А Полина Васильевна сказала, что фашисты, это которые нападали давным-давно, и их всех давно уже наши перебили! И, что здесь живут нормальные немцы, а не фашисты! – выпалил Толька.

– Та все они фашисты! Их же родственнички поубивали моих обоих братиков...

Вдруг из-за угла дома появился отец с незнакомым мужчиной (чуть позднее дети дадут ему прозвище Джигарханян, потому как у дяди Готлиба не только внешность, но даже голос и манеры почти не отличались от знаменитого актера Армена Джигарханяна):

– И шо вы тут о то не поделите? Катя, это жеш теперь наш о то сосед – Готлиб. А это, Готлиб, Катя – моя стара карга... О-от... Познакомтися. Ну, а это ж наши с нею басурманы. – острил отец, знакомя нового соседа с семьей.

– Здрасьте, – улыбнулся дядя Готлиб, казалось, не обращая внимания на своеобразный юмор нового соседа.

– Здрасьте, – любезно поздоровались дети и мама.

– А мы тут, вон, прямо через плетень от вас живем, – кивнул он на восток, в сторону ближайшего соседского строения. – Ну, я надеюсь, мы будем хорошими соседями, – приветливо сказал новый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Моя Эрна вечером приедет из Ташкента, тоже познакомитесь. Она еще утром поехала дочек проведать, они у нас первый год обе учатся там, в педучилище.

– Ну-ну, познакомимся... – промолвил весьма озабоченным тоном отец, постукивая носком ботинка по цоколю, – Послушай, Катя, обошли мы дом о то кругом... Готлиб говорить, шо он не на железобетонном фундаменте о то стоить, язви...

– Ну, вот, бл... дь... – всплеснула руками мама. – Оттуда бежали, шоб не привалило, и тут опять вляпалися... Ты куда смотрел, када куплял, а?

– Скока тебе раз о то говорить: не материся при детях, язви тебя?! – тут же осадил ее отец.

– У-у-у, да ты не слышал, как моя матерится... Как сапожник! – широко улыбаясь, дядя Готлиб попытался как-то смягчить начавшийся, было, накал страстей новых соседей.

– Та не при детях жеш так о то матюкаться?!

– В том и дело, что моя и при детях... А на корову материлась, у-ух! А корову продали, дети почти все поразъехались, так теперь она матерится то на Толика, то на кроликов... Даже на собаку загинает.

Дети дружно засмеялись, а отец с мамой, обменявшись хмурыми взглядами, продолжили перепалку:

– А ты сама куда смотрела, язви тебя? Мы жеш уместе его купляли?!

– А хто ухватился за этот самый большой в Калинин двор, шоб было куда свою засратую машину ставить? А если ливни пойдут или наводнение? – не на шутку растревожилась мама.

Дядя Готлиб, тем не менее, вновь сделал попытку как-то урезонить соседей:

– Да никаких наводнений здесь не бывает. Разве что, если во время полива огорода кто-нибудь забудет дамбу на арыке закрыть. А так, за питьевой то водой аж на водокачку мотаемся на ишаках. А вот землетрясение... Не знаю... Упаси, Бог, конечно...

Услышав о землетрясении, родители и дети словно потеряли дар речи, и, хлопая глазами стояли, почти не шевелясь.

Тогда дядя Готлиб продолжил:

– Да не бойтесь вы! У нас ведь точно такой же дом, и ничего, живем! Случись землетрясение – уцелеют наши дома – никуда не денутся, потому что их строили немцы... – он вдруг осекся, потом наклонил голову, и сказал уже тише – Зато у вас самый лучший на улице виноградник. У них же тут было самое лучшее вино в поселке. А яблонь, сколько, смотрите, – повел «делегацию» по саду новый сосед, – Смотрите, это вишня, это абрикос... Это вот персик, тут урюк, а это груша... О, они даже и лестницу вам оставили...

– Та на гада она здалася нам о та лестница?! Стока денег содрали за о ту халупу, а она без фундамента, язви их у душу... – ворчливо отозвался отец.

– Как это – зачем? На чердак будете лазить, на деревья за вишней... Хорошая лестница. Новая. Получше нашей будет, – опершись о приставленную к фронтону с чердачной дверцей лестницу, ответил дядя Готлиб, – И все же, несмотря на здешнюю жару, тут добрая и благодатная земля. Просто за ней нужен должный уход.

Ольке дядя Готлиб понравился с первого дня их знакомства. Да он и в последствии окажется спокойным, общительным и очень добрым дядькой. Позже она, сравнивая отца с дядей Готлибом, не раз будет задаваться разными на его счет вопросами. К примеру, почему дядя Готлиб, получив только начальное образование и будучи немцем, правильно произносит русские слова и, в отличие от закончившего семилетку отца, не «гэ-кает»? Или почему, например, несмотря на то, что дядя Готлиб сидел в тюрьме, его никто и никогда не видел раздражительным, грубым, неприветливым или повышающим на кого бы то ни было голос, или, тем паче – поднимающим руку на жену или детей? Ольке нравилось даже вдыхать запах дыма от папирос или сигарет, когда дядя Готлиб приходил по какому-то делу к отцу и закуривал. Она даже стала мечтать, чтобы их батя тоже курил и от этого стал таким же добрым и спокойным, как сосед.

А однажды ее мысли едва не материализовались. Едва успела она подумать: «Хоть бы дядя Готлиб научил батю курить!.. Он бы тоже никогда не психовал, и мы бы, как Гермесы, зажили бы так же дружно...», как вдруг отец произнес:

– Как ты, Готлиб, о то, куришь, язви?

– Не понял, Петрович, что ты имеешь в виду?

– Ну, тебя прямо тянить о то курить эту заразу, чи шо? Та еще ж одну за другой о то смалишь...

– Да, привык я уже, Петрович. Я же лет с шести, еще в детдоме научился курить, – улыбнулся дядя Готлиб. – Не знаю, как других, но меня курево успокаивает. Как только расстро-

юсь, закурю и потихоньку успокаиваюсь. Если бы я не курил, я бы, наверное, психом был еще тем... Хочешь попробовать? – он вытащил сигарету из красной пачки с надписью «Прима» и протянул ее отцу.

– А давай! Хотя позабавляюсь о то... Но, я жеш не умею, язви, Готлиб... – отец взял сигарету опасно, словно запал от гранаты.

Олька крутилась рядом и мысленно посылала импульсы отцу: «Наконец-то!!! Ну, батя, молодец!.. Давайте, давайте, па!.. Закуривайте! Ну же... Н-ну!? Дядя Готлиб! Помогите же ему... Научите же его курить!!»

Дядя Готлиб поднес к концу сигареты зажженную спичку, отец закрыл глаза, нахмурил брови, дабы придать себе вид заправского курильщика, и... прикурил!!! Увы, к великому Олькиному разочарованию, выглядел отец при этом далеко не как дядя Готлиб, а как первоклассник, которому впервые в жизни предложили закурить за углом школы. Словом, в первую же минуту дым сигареты попал отцу в глаза, он сморщился, побряхтел, слегка покашлял и обеими руками стал отмахиваться от него.

Видеть отца с сигаретой, конечно, было непривычно и весьма забавно, но бдительная Олька продолжала мысленно атаковать главного участника процесса: «Ничего, па! Это только первый раз страшно. Дядя Готлиб же, вон, в шесть лет научился, а вы до сих пор не умеете! Па, ну, постарайтесь... Давайте, давайте! Смотрите, как курит дядя Готлиб, и вы, ну же...»

– погоди, Петрович, ты неправильно... Такой большой, а не знаешь элементарных вещей, – по-доброму засмеялся дядя Готлиб, – Надо же затынуться... то есть, дым надо вдыхать, усёк?

– У себя-а?! – искренне удивился отец.

– Ну да. Вот сделай затыжку. А иначе, зачем курить, если не в себя, а только зря добро переводить? Ну-ка, сделай, Петрович...

– Так дым жеш тада не тока у глаза, а и у лёгкие попадётся? – недоумевал отец. – Та он не тока у легкие, а и до ж...ы о то достанить...

– Давай, Петрович! Не достанет! Это я тебе гарантирую!

Олька, тем временем, не теряя надежды, продолжала свой «гипнотический» сеанс: «Ну, па, да не бойтесь же вы! Да сделайте вы эту, несчастную, затыжку, как говорят. А то дядя Готлиб обидится да уйдет, а вы так и не научитесь...»

И, наконец, свершилось: отец решил сделать затыжку!

Но, увы... Страшно раскашлявшись, он со злостью выбросил сигарету в печку и его провало, да так, что остановить отца не мог даже кашель:

– Та на гада оно здалося, шобы я о то у себя добровольно о тот вонючий дым удыхал? Не-е, Готлиб, так не пойдётся... – кашляя, рассуждал отец. – Та я и так о то спокойный, как танк! Не нравицца мне, Готлиб, курить... Не буду я больше... Та на шо оно мне – тока зря хату о то коптить?.. – Вытирая рукавом фланелевой рубашки выступившие слезы, порядком осипшим голосом произнес он свои последние слова покаяния.

К величайшему Олькиному огорчению у отца и в самом деле больше никогда не возникало желания даже просто побаловаться с сигаретой. Вообще-то ей сначала было немного жаль отца, особенно когда тот раскашлялся до слез в процессе обучения, а когда он приободрился и стал прежним, ей ничего не оставалось, кроме как мысленно разочароваться в нем: «Эх, батя, батя... Так всю жизнь и будете ходить злым. Хоть бы Толька с Павликом, когда вырастут, научились курить, как дядя Готлиб. И муж бы попался, курящий в затыжку, такой же спокойный и добрый...»

Всякий раз, едва дядя Готлиб появлялся на пороге, Олька его приветливо встречала, как впрочем, и всех, кто бы к ним ни приходил. Однако, отца это по каким то причинам, ведомым только ему одному, раздражало, и он периодически ворчал на нее:

– На гада, ты о то лебезишь перед о тем Готлибом: «Проходите, дядя Готлиб... Присажуйтесь о то, дядя Готлиб...» «Хто он такой, шобы его о так о то встречали? Гостиприимна кака, нашлася, язви...

Данное отцовское замечание не только не миновало Толькиных ушей, а и страшно понравилось брату, который, дабы не упустить малейшую возможность донять сестру, смачно пародировал каждое отцовское слово:

– «Гостиприимна кака, нашлася!..» Ха-ха-ха!..

Олька все равно продолжала быть приветливой, потому что по-другому не хотела, да и не умела. К тому же, ей слишком уж не нравились те, кто приветствовал людей сквозь зубы или нахмутив брови.

Глава VII

А пока что в день заселения, дядя Готлиб заочно познакомил их с не менее чем он замечательными соседями, что жили напротив. Вернее, прямо напротив их дома располагался незастроенный участок, за которым виднелся арык для полива огородов противоположной стороны их улицы и одной из следующей за ней – центральной. Этот пустырь заблаговременно облюбовал отец:

– О, мне, как раз хорошо будет тут о то разворагчуваться на машине.

Со слов дяди Готлиба, слева от пустыря проживала семья Шрёдер, главой семьи в которой была тетя Марта, проживая с «обнеметченным» украинцем Иваном – пастухом совхоза, четырьмя их сыновьями, младший из которых, тоже Ваня, был ровесником Павлика, и двумя дочками, Лизой и Лианной – приблизительно одногодками Аньки и Ольки. Справа – семья, где всё было до наоборот, хотя в ней и главенствовала тоже жена, только русская – Ларина тетя Маша, но у них было четверо не сыновей, а дочек – Вера, Надежда, Любовь и Татьяна. К Татьяне, которая окажется Толькиной одноклассницей, лет до четырнадцати (с подачи, кстати говоря, ее же матери), весьма основательно прилипнет прозвище Таня-Матаня, точнее, просто Матаня. А их отца – «обрусевшего» Освальда Андреевича Бендер, неизменного преподавателя по труду Калининской школы, будет преследовать подпольная кличка Остап Бэндэр, несмотря на то, что тот будет полной противоположностью героя из «Золотого тельца»...

Попрощавшись уже после заката солнца с дядей Готлибом, и по причине отсутствия в патронах лампочек, они впотьмах наспех постелили на пол в большой комнате то, что удалось на ощупь обнаружить из постельного, пришедшего в контейнере, улеглись, наконец, на ночлег в своем новом жилище.

Поскольку отец, по своему обыкновению, засыпал исключительно после переговоров на самые разнообразные темы, так же и на новом месте, когда все более или менее уgomонились, он положил начало беседе и в сей раз:

– У гостях то оно хорошо, а дома хоть пёрднуть можно... Ну, вот мы и на Юге, язви... Та на новом жеш месте о то... Та у своей жеш хате... – сладко зевнул он, и после небольшой паузы продолжил, – Ну и хфамилия ж у о того Готлиба – Гер-мес. Это ж как а-то не русска о то хфамилия... А так, засранец, чисто говорить по-русски, язви. Шо за Гермес? Катя, не знаешь, шо о то за хфамилия у его?

– Та фашист недобитый твой Готлиб! – несмотря на одолевшую было зевоту, мгновенно оцетинилась мама. – Ты че, так и не понял, шо на этой улице одни фашисты нас поокружали? Знала б... Да лучше б в Шемонаиху переехали: там теперь ни одного фашиста днем с огнем не сыщешь.

– Та не мели о то ерунду, Шамонаиха засрата. На гада она здалася твоя Шамонаиха? Окромья того, шо жопу морозить у твоей Шемонаихе о то, больше там делать нечего. И так вон Господь как усё устроил... А хто бы нам у твоей Шамонаихе дал денег у долг?

Мама молчала, и отец продолжил:

– От и молчи, Шамонаиха, язви! Так шо... Дай о то, Бог, здоровья бабе Наташе... Шо и у том в Атбасаре мы бы загнули...

– Так твоя же – «славнецкая» родина!..

– Та, если б не о те проклятые морозы...

– Ага, если б тока одни морозы...

– Мого жеш батько тоже фашисты убили! – после паузы сказал вдруг отец, – А Иван пришел с войны о то с культями? Эти, Катька, не фашисты. Эти – даже не военнопленные, шо я охранял.

– Та каво ты там у сраку охранял? Охранник нашелся...

– А ты – не знаешь, не болтай шо попало... Та шо я не знаю и про этих немцев, шо их сначала с Поволжья на север та на восток, как и нас с Украины ще у начале века, а у конце войны – сюда у в Азию усех загнали. Та от таких жеш, гомнюков, как ты, их сюда и нагнали оттуда, шоб от греха подальше... Настоящих фашистов, Шемонаихиньска грамотейка, еще у войну поперебивали усех, – периодически зевая, монотонно продолжал отец.

– Ну. А я и говорю, шо недобитые и остались! Твой Иван пришел калекой, та хоть живой! А моих братиков – обоих, сволочи, поубивали!

– А, може, он грек... чи еврей...

– Хто, Иван?!.

– Конь у пальто. Хороший мужик о то, покладистый. Он жеш пошти шесть лет о то отрубил у лагерях, язви... Ни за шо, гомнюки, упекли, када он еще совсем пацаном о то был.

– Та де ты видал, шоб ни за шо сажали?

– Та помолчи ты, стара карга, если о то ума не нажила. За газетку попал Готлиб, шо ж... у ею вытер с хфамилией гомнюка о того рябого... А стукачи донесли на его. Та о таки жеш, как ты и донесли о то.

– Ты меня с предателями та стукачами не уравнивай!

– Ага, так я и поверил, шо она не донесла бы на «фашиста» Готлиба, язви...

– Тю, дурень... Поискать таких – еще хер и найдешь.

– Та не матерись жеш ты, яви тебя!

– Та они уже давным-давно спят!

– Тада попридежи свой язык за зубами, та не суй свой нос, куда о то не следовать, шобы тебя не сравнивали со стукачами.

– И все равно: как были они фашистами, так фашистами и останутца!

– Та убери жеш свои гаргэли! Тока и знает, шо складаить на меня свои гаргэли!

– Да? Тада попробуй тока дотронься еще када-нибудь до их ... – обиженно сказала мама.

– От так о то оно получше... И не дотрагуйся о то больше до моих!.. – и снова зевнув, прожолжил. – Завтра с ранья у совхозну контору пойду, шоб застать самого директора: може, кака-то да найдетца для меня машинёшка о то. А ты завтра сходи на почту, та выпиши газеты на будущий год о то. Шоб не прозевать с этим переездом.

– На какие шиши я тебе их выпишу? Полтора рубля в кармане осталось...

– Ну тада – с первой моей полочки. Тока «Правду» и «Сельску жизнь», та и хватить о то. А то и в уборную не с чем о то ходить, язви...

– Та до нового года и атбасарских газет хватит, – зевая сказала мама, – там с книжками я их у мешок поскидала, када контейнер грузили.

– Опять лезешь своими гаргэлями?.. Ты мне лучше скажи, шо завтра жрать о то будем?

– Хм, а целый контейнер картошки на шо?

– Тада за хлебом о то не забудь жжешь послать... Там и у моем кармане мелочи немножко осталось...

– Не жрал бы, б... дь, человек, – начала философствовать мама, – скока б денег...

– А не срал – було б еще больше! – сквозь смех хрипло прошептал отец, громко отрыгнув.

– С чиво бы это тебе рыгать? – засмеялась и мама. – Мы то – не рыгаем, потому шо с утра крошки у роте не было... Хто-то, значит, тебя накормил...

– Та «она» жеш о то меня и накормила, – покряхтывая, отшучивался отец, как это он по обычаю делал, приезжая домой не голодным. – Не, о то, скорее, душа моя с Богом разговарует, – продолжил он и уже серьезнее добавил. – Усё, давай, Катя, спать. А то завтра не подымимся...

Из-за массы новых впечатлений Ольке тоже не спалось, и она ворочалась с боку на бок, задавая себе один и тот же вопрос: «И почему это у бабы Наташи тоже почти все погибли, а она все равно любит своих соседей и не обзывает их фашистами? Ведь немцы же – точно такие же

люди, как и все, что их даже никак не отличишь... И соседи тоже как бабу Наташу все любят... И почему она, хоть и старее мамы, но не злится на людей? Я никогда не буду ни на кого так сильно злиться... И даже на плохих людей...»

И уже погружаясь в сон, начала мечтать: «Вот бы нам сюда точно такой же, как у бабы Наташи, Красный Угол... Ой... нет... тогда Боженька увидит, какими злыми бывают бая с мамой, или, как Анька с Толькой дерутся... Он же, Бедненький, сразу умрет... Нет, надо подождать... Или... может, что-нибудь придумать, чтобы... они все... стали добрее... И... чтобы... Каравай-каравай... – возникло в голове само собой, когда она почти что уснула, – кого любишь -выбирай...»

Утром отец пошел решать вопрос трудоустройства, а дети с мамой разбирали узлы, пришедшие в контейнере, собирали кровати, одним словом, обустраивались.

Вскоре к ним пришла знакомиться жена дяди Готлиба, тетя Эрна, и в качестве гостинца принесла пол-литровую банку виноградного варенья. За чашкой чая с тетей Эрной выяснилось, что ее младший сын, тоже Толик, учится с Анькой в одном классе. Тетя Эрна оказалась тоже очень доброжелательной и веселой соседкой. Во время разговора она все время улыбалась и часто заразительно смеялась, и сама говорила с весьма и весьма забавным немецким акцентом. Многие из ее слов, было непонятным, и мама то и дело ее переспрашивала.

Улыбалась соседка, даже когда рассказывала о том, как вчера в Ташкенте ее ограбили: в переполненном автобусе разрезали куртку и из внутреннего кармана вытащили кошелек с деньгами, которые она везла своим дочкам. И на обратную дорогу тете Эрне пришлось деньги одалживать в общежитии у студентов.

Или еще она, так же смеясь, поведала грустную историю о том, как пару-тройку лет назад наказала своему младшенькому Толику присматривать на поляне за гусятами. А он... Короче говоря, когда Толику надоело собирать гусят до кучи, а дабы те, как велела мать «не разбежались», он и убил их всех палкой, сложил в рядочек и продолжил спокойно себе «пасти», пока, ближе к вечеру за ними не пришла тетя Эрна...

Когда соседка, словно о чем-то вспомнив, внезапно спохватилась и убежала, Анька спросила у мамы:

– Ма, а почему она все время смеется, и почему у нее зубы такие?

– Какие – «такие»?

– Блестящие.

– Та потому шо, если бы не эти, бл... ские алименты, я бы тоже понавставляла себе железные зубы, та тоже не закрывала бы рота, а, как и она – хвасталась бы всем.

– У нее и серьги в ушах, и колечко...

– Та де ты там колечко увидала, в носу?

– Да на пальце!

– Ну и поначепляла на себя, потому шо деньги некуда девать. А платила б алименты, – не ходила бы в энтих побрекушках. Понавставляла, поначепляла и ходит, как дядина дура. Та у меня и свои зубы хорошие, хоть и не железные! А шо серьги, шо кольца я и не люблю их вапще. На хер эти побрекушки? Пускай дурнотой занимаются, кому делать не хрен.

Между тем, тетя Эрна, очевидно предварительно оценив, скромный бюджет новых соседей, спустя какое то время вернулась, и на сей раз принесла целый узел вещей, из которых ее дочки и сын уже выросли.

Потом она станет забегать к ним почти каждый день, и всякий раз будет забывать, зачем приходила.

На следующий день отец снова отправился на поиски работы, Анька с Толькой ушли в школу, а мама с младшими осталась дома хлопотать по хозяйству. Ближе к полудню Олька с Павликом, увидев бегущих купаться ребятишек, тоже отпросились у мамы сходить на арык

и просто посмотреть, как купаются дети. Мама их отпустила, но не на большой арык, где «большие пацаны задираются», а на маленький, где купается малышня». Но на маленьком арыке, кроме гусей и уток ничего интересного они не обнаружили, и их потянуло дальше. Да они и сами не заметили, как оказались на большом арыке.

Сначала они стояли на мосту и просто смотрели, как резвятся в воде и на берегу одни мальчишки-подростки, (девчонок почему-то не было). Потом... Потом всё произошло молниеносно... Олька едва только успела подумать: «...И мы тоже научимся так же плавать и нырять. Они же тоже раньше не умели...», как вдруг чья то жилистая рука резко толкнула ее, и она кубырем полетела в наполненный до берегов большой арык...

Со временем, конечно, забылись и та грубая рука, столкнувшая ее с моста, и тот, казавшийся непреодолимым страх, когда она, погружаясь в воду, уже достигла, было, дна... И как, что было сил, карабкалась на поверхность, как добралась до скользкого глинистого берега... И как потом над ней, наглотавшейся вдосталь мутной воды, склонился перепуганный Павлик.

Спустя время, когда Ольке доводилось либо наблюдать за процессом обучения плаванию новичков, либо самой обучать «неофитов», она ненароком вспоминала тот случай. И всякий раз ловила себя на мысли: а если бы ее тогда кто-нибудь, все-таки, кинулся спасать, научилась бы она плавать в свои тогда шесть лет? Или что было бы, если бы она, преодолевая невероятный страх, сама не захотела бороться за жизнь? Хотя, вряд ли она научилась бы плавать, если бы тогда не выплыла... Но в лучшем ведь случае, и если бы она надолго испугалась воды, она, скорее всего, тогда бы лет до десяти, наверное, купалась бы в мелком лягушатнике с малышкой. И не плавать бы ей тогда на перегонки с мальчишками, и не нырять наравне с ними с моста и дерева, а прыгать бы, зажимая нос и глаза, с моста, как другие боязливые девочки-неженки. Или, ухватившись в арыке за корни деревьев, которых, благо, было полно под водой у самого берега, сидеть, аки бегемот какой, и завидовать тем, кто не боится держаться на воде без этих спасительных корней.

В тот день Павлик оказался молодцом и никому из домочадцев о том, что Олька едва не утонула, не проболтался.

Павлик не делает этого и немногим позднее, когда Олька, обрадовавшись, что берег арыка пустует, смело предположила, что в кои-то веки у нее появился шанс прыгнуть добровольно – самостоятельно! Но прыжок оказался весьма неудачным... Коротко говоря, в тот злополучный день она до кости поранит пятку острым осколком разбитой бутылки на дне, по роковому стечению обстоятельств брошенной каким-то злоумышленником именно в том месте, где дети обычно прыгали с моста...

Когда она пришла домой, каким-то чудом остановилась кровь, хлыставшая из глубокой раны на пятке. Они с Павликом перемотали какой-то тряпкой рану и договорились соврать маме, что Олька, дескать, поранилась не в арыке, а на поляне, не заметив в траве разбитую бутылку. Потому как в противном случае их бы никогда больше купаться не отпустили.

Конечно же, про себя Олька гордилась тем, что она раньше старшей сестры научилась плавать, нырять и лазать по деревьям, а по-настоящему свистеть, вообще, умела в семье только одна она. По правде говоря, овладевало это чувство ею только тогда, когда она злилась за что-то на Аньку с Толькой; чаще было наоборот, чаще ей самой очень хотелось гордиться старшими. Лишь иногда она летом завидовала как неподдающейся загару Анькиной коже, так и приезжающим к соседям издалека белокожим гостям, которые ей без загара казались такими ухоженными и холеными в отличие от нее, почерневшей и непривлекательной, этакой маугли.

В мае шестьдесят пятого Ольке исполнилось семь. И когда она поняла, что ее – теперь семилетнюю, от такой по-настоящему взрослой школьной жизни отделяют какие то считанные дни, то вдруг подумала, что настоящий первоклассник непременно должен уметь ездить на двухколесном велосипеде, и тут же приняла решение во что бы то ни стало освоить это дело. Недолго думая, Олька выпросила у соседки, восьмиклассницы Нюски Бетто взрослый

велосипед, разумеется, слукавив, что она уже неплохо умеет ездить, но сядет на него только на соседней улице, потому что, дескать, только там ей, отталкиваясь от бордюра, будет удобно трогаться с места.

Счастью не было предела, когда Олька вела велосипед на соседнюю улицу. Не без трепета, то и дело звеня звонком, прикрепленным к рулю, с наслаждением принюхиваясь к запаху кожаного сидения, она предвкушала езду на настоящем взрослом велосипеде: как она одной ногой встанет на бетонный бордюр на дамбе, что имелся лишь на мосту центральной улицы, как, перекинув другую ногу, встанет на заветную педаль, оттолкнется и...

Примерно в течение часа Олька научится-таки езде на велосипеде, как под рамой, так и на ней, и главное – сделает это сама!

Тогда ее желание научиться езде здесь и сейчас было настолько неистовым (хотя, сначала ее мучил страх, что ей никто и никогда больше не предоставит технику, если она не сможет воспользоваться этим шансом именно сегодня), что ее, казалось, никто и ничто не могло остановить: ни оружие на нее пешеходы, ни брань водителей:

– Уйди, дуреха, с дороги, а то попадешь под машину!

Но более свирепые ругались и того паче:

– Тебя же, б... дь такую, раздавят, как лягушку, а потом сиди за тебя! А ну, марш домой, зараза!..

В первую очередь от стараний не повредить чужой велосипед из-за бесчисленных падений на дорогу с булыжниками, и на обочину в верблюжьи колючки, ее лицо будет в царапинах, слезах и пыли, а ноги и руки исколоты и содраны в кровь. Словом, тело ее будет походить на один сплошной кровавый синяк. Но дольше всего, после обучения езде на раме, будут проходить у нее ссадины в паху, которые еще несколько дней внешне будут напоминать цвет переспелых плодов тутовника.

Однако радость от того, что она теперь умеет кататься на большом велосипеде, да еще и на раме была ни с чем несравнима и превыше всего! Она была счастлива, что теперь-то Анька с Толькой не будут, наконец, ее донимать за то, что она не умеет ездить, потому как сами они еще в Атбасаре научились кататься на тети Грушином дамском велосипеде. И еще она для себя навсегда усвоила, что без труда, и на самом деле, не выловишь ни рыбку из пруда, ни, вообще, ни чему не научишься.

Вскоре отец устроился на работу в совхоз шофером на бортовую машину ГАЗ-69, на которой возил рабочих, затем перешел в строительно-монтажное управление водителем самосвала. А спустя пару месяцев после их переезда на работу устроилась и мама. И работала она сначала разнорабочей, а затем дозировщицей на асфальтно-бетонном заводе.

Их первая зима на Юге, хоть и не шла ни в какие сравнения с суровой атбасарской, щедрой на метели и лютую стужу, но тянулась невероятно медленно, ибо была весьма голодной и оттого унылой. А все потому, что переезд семьи состоялся в середине осени, и урожай того года, по понятным причинам, им не достался, и они были вынуждены обходиться без каких-либо заготовок овощей да фруктов. Зато почти всю зиму выручала их, конечно же, атбасарская картошка. Правда, ближе к весне из-за отсутствия погреба треть картошки сгнила, но они мужественно пережили и этот кризис.

В магазин, днем – за хлебом, а вечером – в ларек за молоком теперь ходила Олька; по пути она проходила мимо детского сада, и ей всякий раз хотелось оказаться среди, как ей казалось, хорошо одетых, беззаботно играющих в песочнице, ухоженных и счастливых детей «богатых буржуев»...

Всякий раз на этом месте она, замедлив ход, останавливалась, и всякий раз ее неудержимо тянуло проникнуть внутрь этого, такого недостижимого заведения, где (а она была в этом абсолютно уверена), было прохладно, чисто, уютно, много игрушек и вкусной еды. А вечером ей так же, как они, хотелось радостно бежать навстречу пришедшей за ней мамой... Сквозь

щель в дощатом заборе она часто наблюдала, как из кухни, которая находилась в противоположном углу территории детского сада, две женщины в белых халатах несли сначала огромную кастрюлю с надписью «первое», потом возвращались за кастрюлей поменьше, с надписью «второе». И всякий раз за ними тянулся шлейф невиданных, невероятных до головокружения, пленяющих запахов... Потом женщины снова возвращались, и одна из них уже несла огромный алюминиевый разнос, накрытый белоснежной марлей, вероятно, с хлебом или выпечкой, а другая – либо два больших чайника, либо один бидон с надписью «компот» или «молоко»...

Проходя мимо школы, она хотела поскорее вырасти, чтобы ходить с бантиками в школьной форме, в новых, приятно пахнущих сандалиях и, конечно же, с портфелем в руках. Поравнявшись с совхозной конторой, она мечтала стать ее директором, потому как о наличии других должностей в этом заведении она, конечно, не ведала. Ну а добравшись до магазина, она уже «забирала» из детского сада своих, как минимум пятерых детей, которые все без исключения были непременно в белых панамках, гольфиках, а две или три ее дочки (с точным количеством которых она пока не определилась) – с белоснежными пышными бантами. Потом она заходила с детьми в магазин, и покупала каждому по банке «сгущенки», потому что, хотя сгущенку она пока что и не пробовала, но касательно того, что это – самое вкусное лакомство на свете, сомнений у нее, в общем-то, не возникало.

Поскольку и в Калинин хлеб в магазин привозили не регулярно, ей, как, разумеется, и другим людям, приходилось терпеливо ожидать, пока повозка с хлебом, с запряженным в нее гнедым жеребцом Карасиком, у которого были невероятно умные, но почему-то всегда печальные глаза, появится на горизонте. На козлах сидел бессменный и незаменимый дед Тыркун с прокуренными густыми и большими, как у таракана, усами. Иногда он не приезжал вообще, и очередь в таких случаях, будучи в неведении, строила всевозможные догадки: речь заходила и о сломавшейся районной пекарне, и об отключенной там электроэнергии, и о внезапно заболевшем деде Тыркуне, и о каком-то недоразумении с Карасиком. После чего, так и не дождавшись хлеба, люди с пустыми котомками и понурыми лицами расходились по домам. Зато, на следующий день, едва только завидев повозку, очередники радостно оживлялись, и выстраивались в ровную линию еще до разгрузки хлеба.

Ольке очень нравился момент, когда ее очередь с улицы продвигалась внутрь магазина, и она могла наблюдать за красивой и ловкой продавщицей тетей Аленой, которая выдавала хлеб и развешивала на весах всякую всячину. На витрине, украшенной вырезанными из белой бумаги кружевами, что располагалась за длинным прилавком, над самой крайней тумбой с хлебом красовалась пирамида из баночек с синими ромбиками того самого заветного сгущенного молока... Когда Олькина очередь доходила до участка прилавка, где тетя Алена выдавала только хлеб, и пока продавщица отпускала впередстоящих, Ольга ладошкой, насколько только дотягивалась, «незаметно» собирала с прилавка дармовую горстку хлебных крошек и, так же «незаметно» отправляла это хрустящее лакомство в рот.

Одним из нелегких испытаний для Ольки в этом послушании было донести в сохранности драгоценную буханку домой и по дороге не погрызть горбушку. Когда есть хотелось неудержимо, она после некоторых раздумий и серьезного внутреннего монолога, вроде: «... бли-и-ин... сегодня он такой хрустящий... И так пахнет... Ну и пусть, если поругают или даже побьют, я же только чуть-чуть...» и, как мышка, обгрызала горбушку по периметру то с одного, то с другого края буханки.

Имели, в общем-то, место и неприятные для нее моменты, связанные с походом за хлебом. К примеру, хотя бы, случай, когда она лишь в магазине обнаружила, что потеряла по дороге рубль, который мама, уходя на работу, оставила в спичечном коробке. В связи с этим Ольга перенесла тогда жуткий стресс, потому что из-за нее без хлеба осталась в тот неудачный день вся семья. Да и о цене денег у нее, в общем-то, были кое-какие представления. Обливаясь слезами, она, в надежде, что рубль найдется, несколько раз прошла по дороге в магазин, иссле-

довав, как ей казалось, каждый сантиметр. Рыдая, она неумело, но с отчаянной искренностью, молилась: «Боженька, ну помоги же мне найти этот чертов рубль, пожалуйста... А я больше никогда в жизни не буду его терять...» Но рубль так и не нашелся. Потому что у Боженьки в тот день, видимо, были дела поважнее...

Дома ее за это хоть и не выпороли, но и по головке, что называется, не погладили. Словом, пострадала, на сей раз она морально. Пострадала от всех членов семьи (кроме, конечно, Павлика), да так, что ей тогда показалось, лучше бы они все ее взяли и, как следует, побили. Зато однажды Ольке посчастливилось по дороге из магазина найти десятикопеечную монету. Пребывая от счастья приблизительно на седьмом небе, она, руководствуясь исключительно добрыми намерениями, еще по дороге домой аккуратно пальцем эту находку глубоко – в самую середину свежайшей буханки. А когда ее план таки удался, она безумно радовалась, но и виду не показала за столом, что благодаря этой счастливой монетке в этот вечер традиционная гнетущая атмосфера во время ужина таки была сведена «на нет».

– Ну вот, оказывается, наша Ольга сегодня не за шестнадцать копеек буханку о то купила, а усего за шесть.– Традиционно нарезая хлеб, промолвил отец, обнаружив монетку, и резкие, суровые черты его лица заметно смягчились.– Усигда бы о так о то було, язви... И как жеш оне о то?.. Та выпала у кого-то, наверна ж с кармана, када месили тесто у пекарне...

– А тада, помнишь, у одной хлебине – нитка от мешка попалася? Та даже не нитка, а целых полмешковины... – с напускной веселостью сказала мама, разливая суп по тарелкам.

– Деньги о то лучше... Завтра Ольга о то добавить к этим десяти копейкам тока шесть, та еще бухану купить...

Самым трагичным был случай, когда продавщица тетя Алена не пришла на работу. Тогда магазин весь день был закрыт, а ближе к вечеру приехал дед Тыркун – чернее тучи, и принялся прямо с брички продавать хлеб сам. Он сообщил, что тети Алены в магазине больше никогда не будет, потому что она насмерть отравилась уксусом. Кто довел ее до этого, так и осталось невыясненным. А о том, что теперь без нее остались двое ее маленьких детей, и без того знал весь поселок.

Так несколько дней подряд дед Тыркун сам продавал хлеб, а потом в магазине появилась новая продавщица, тетя Эльза.

Однажды, словно в противовес тому приятному сюрпризу с монеткой, Ольга, сама того не желая, оплошала так, что отец ее впервые в жизни жестоко выпорол ремнем. Хотя это и было единственный раз, но запомнила тот случай Ольга, если не навсегда, то очень надолго.

Поскольку отец матерился при детях лишь в особых случаях – пребывая в состоянии страшного гнева, и не позволял этого делать маме, дети были слабо просвещены касательно разнообразия и богатства нецензурной брани.

В один прекрасный зимний день, точнее вечер, из «портового» города Чардары к отцу сюрпризом нагрнул его муйнакский земляк дядя Саша Козлов с сыном Ленькой. Отец давненько не виделся с приятелем, и потому искренне радовался этой встрече. Чардару он с недавних пор стал называть «портовым», потому как сей городок (точнее, поселок городского типа) располагался на берегу наемднии образованного Чардаринского водохранилища, наполняемого водами реки Сырдарья.

Не прошло после встречи и получаса, как родители собрались и ушли с дядей Сашей в гости к их общим землякам Самойленко, а четырнадцатилетний Ленька пожелал остаться с детьми дома. Впервые оставшись поздним вечером без родителей, да еще и с таким взрослым гостем, дети от радости бегали, прыгали и орали, словно обезумевшие. Лишь немного успокоившись, они заметили скучающего, почему-то не желавшего разделять с ними эту радость Леньку, и предложили ему поиграть в прятки. Но Ленька сказал, что в прятки ему не хочется,

и предложил играть в ножички. Вынув из кармана куртки свой складной нож с красивой ручкой, Ленька сказал, что эту вещь сделал своими руками и подарил ему какой-то Зэк (произнесено это было с такой таинственной важностью, что Олька решила, что этот самый Зэк неспроста носил такое чудное имя. Наверняка – разведчик, или что-то вроде того), и с деловитой небрежностью продемонстрировал детям свое умение метать нож. Дети с неподдельным восторгом наблюдали за тем, как красиво и дерзко Ленька владеет этим «холодным оружием». К примеру, ему ничего не стоило с приличного расстояния играючи вонзять нож в пол, в дверь, в косяк, сопровождая свои действия такими новыми для них и такими смачными словами, что их бурному восторгу не было предела. А когда гость метнул нож в скамейку, на которой сидела, согнув в коленях босые ноги, Анька, то он вонзился в дерево аккуратно между большим и вторым пальцем Анькиной ноги... ни капельки, при этом, не повредив ей ни одного пальца! Перепугавшийся (правда, только в первую секунду) Ленька, было, побледнел, но быстро справился и сделал вид, что этот номер он делает уже в сто пятьдесят восьмой раз и еще ни разу не сплюхвал. Но, несмотря на то, что дети Леньке с легкостью поверили, он, очевидно, от греха подальше, положил, все-таки, подарок Зэка обратно в карман куртки.

Спрятав ножик, Ленька сел на табурет посреди комнаты и снова, было, загрустил, а потом принялся рассказывать, как его исключали из школы за хулиганство и за то, что очень плохая их директриса Раиса-крыса продержала его только в одном пятом классе аж целых три года. Когда Павлика сморил сон, и он лег спать, Ленька стал рассказывать анекдоты, которые Олька, почему-то, не понимала, а Анька с Толиком, перешептываясь, загадочно хихикали.

В общем, успех у Леньки был ошеломительным, и жажда общения с гостем у детей, чем дальше, тем больше возрастала. Вскоре Ленька предложил читать стихи, которые не учат в школе. Дети тут же стали предлагать названия стихов не из школьной программы, но Ленька предложил послушать *другие* стихи – стихи из *его* репертуара. И, почему-то он попросил не спрашивать, что означает то или иное новое для них слово, да еще повелел, чтобы в присутствии взрослых они эти стихотворения ни в коем случае не рассказывали.

Ленькины стихи, в отличие от анекдотов, Олке понравились больше, особенно один, с новыми словами, который ей непременно захотелось тут же выучить. Тем более, стишок оказался про ненавистного Гитлера, у которого никак не получалось из трех копеек сделать три целых рубля.

Так, покачиваясь на табурете, периодически спрашивая у Леньки подсказку, Олька старательно приступила к процессу заучивания нового, неизвестного пока миру шедевра:

– Сидит Гитлер на скамейке... Э-э-э... Лень, как-как дальше?..

Ленька подсказывал, и Олька повторяла:

– Х..м лупит три копейки,

Хочет сделать три рубля-

Не выходит ни х..я!!!

А че такое «ни х..я», Лень?..

– Я же, блин, проси-ил! – злился Ленька.

– А-а...Я просто забыла... – виновато опускала глаза она и продолжала учить, – Сидит Гитлер на скамейке...

Повторяла она стишок до тех пор, пока ее взгляд случайно не остановился на незашторенном ночном окне, на освещенном изнутри стекла которого вдруг появился профиль самого отца... Подпрыгнув, словно от удара молнии, Олька вскрикнула и пулей юркнула под одеяло к мирно, на тот момент, спящему Павлику. И, не успевшая ее такая короткая и ничтожная жизнь промелькнуть у нее перед глазами, как это обычно бывает в критических ситуациях, как отец, мгновенно оказавшись в доме, сорвал одеяло, и словно палач над жертвой, уже возвышался над ней с солдатским ремнем в руке:

– Ишь, засранка о така, шо удумала, га?! Я т-тебе покажу о то Гитлера... Кто тебя научил?! Ну-ка, говори, немедля!!!

Олька рыдала и всячески изворачивалась от обжигающих ударов, но отца, казалось, уже ничто не могло остановить:

– Буду пороть, пока не выбью с тебя о ту дурь! Ну-ка, повтори!..

– Я забы-ы-ы-ыла... Я больше никогда... никогдашеньки не буду... Честное сло-о-о-во... Ма-а-ама!...

– Не верю, шобы ты о так о то быстро забыла! А ну-ка, повтори, засранка, о така!!!

– Я... я, правда, забы-ы-ыла-а.. Ма-а-ма-а ... – корчась от ударов, сквозь рыдания верещала Олька.

Не исключено, конечно, если бы Ольку тогда отец не выпорол, она и на самом деле, забыла бы этот стишок про Гитлера с тремя копейками. Но сложилось так, как сложилось, и Ленкино творение сохранилось в ее избирательной деткой памяти, увы, навсегда. По правде говоря, она тогда, хотя и про себя, но все-таки гордилась тем, что не выдала отцу *того, кто* ее просветил, будучи уверенной, что отец и не догадывается о главном виновнике...

Мама же, в отличие от отца, не порола Ольку, тем более так жестоко, потому что... Наверное, потому что Ольке было достаточно и одного случая, произошедшего с ней на первых в ее жизни летних каникулах.

А дело было так.

Перед самым первым приездом бабы Ариши из Атбасара, мама покрасила в сенях цементный пол, и, дабы он быстрее высох, входную дверь оставила открытой. В тот день Толька, как обычно донимал Ольку, дразнил и, предвкушая встречную реакцию сестры, которая, вероятно, его всякий раз безумно забавляла, ходил за ней по пятам. Мама, как, впрочем, и всегда, не обращала внимания на Толькины забавы, так как была и без того поглощена процессом подготовки к приезду «любимой и долгожданной» свекрови.

Беззащитная Олька, не желая больше терпеть очередную психическую атаку брата, направилась, было, в виноградник, дабы уединиться и переждать, пока Толька уgomонится. Но Толик с наводящим жуть упорством следовал за Олькой, которая меньше всего желала, чтобы тот узнал о ее излюбленном месте, где она в трудную минуту делилась горестями и печалью со своим Ангелом. Он все шел и шел за ней, продолжая дразнить, и отступать от своей цели, по всей видимости, не собирался. Вскоре Олькино терпение лопнуло, и она, схватив с грядки попавшийся под руку комок сухой земли, отчаянно запустила его в брата. Толька удачно отскочил, а комок, ударившись о тропинку метрах в пяти от открытой входной двери, рассыпался, и почти все его мелкие кусочки попали прямо на свежоокрашенный пол в сенях... Толька издал вопль, который, несомненно, сделал бы честь всем индейцам мира:

– Ага-а!.. Вот тебе сейчас бу-удет!.. Ма-а!.. Посмотрите, что Олька натворила-а! – побежал докладывать маме о совершенном только что сестрой «преступлении».

И наказание не заставило себя ждать.

Секунду-другую Олька еще постояла в оцепенении... Но, тотчас увидев разгневанную размером причиненного дочкой ущерба, надвигающуюся на нее маму с криком: «Ах ты ж, скотиньяка такая, га!.. Убью, заразу!!!», Олька «включила» инстинкт самосохранения и рванула по тропинке в конец огорода. Добежав до калитки, и без того напуганная до полусмерти, она оглянулась в надежде, что мама, все же, прекратит это чудовищное преследование, но... О, ужас!.. Мама стремительно приближалась к ней с разъяренным лицом, которое ни чем не отличалось от лица отца, когда тот пребывал в страшном гневе. Выбежав за калитку огорода, Олька пересекла поляну, перебрела, погрузившись по пояс в воду, через арык, на каждом шагу увязая в черной зловонной глине, и понеслась в сторону большого арыка.

Мама тем временем продолжала гнаться...

Глинистый ухабистый берег малого арыка был мокрый и невероятно скользкий, по нему не то, что сейчас убежать от настигавшей ее погони – ступать даже тогда, когда Олька просто ходила искать своих гусей, следовало осторожно... Тут-то впервые в жизни она и ощутила, как страшны преследования родного человека, когда не у кого просить помощи и защиты, когда неизвестно, что будет, если тебя настигнет... твоя собственная мама... Когда от беспомощности и шока подкашиваются ноги, когда падаешь, снова встаешь, и не знаешь, что лучше – остановиться или бежать дальше... Когда охватывает стыд перед встретившимися недоуменными соседями оттого, что за тобой гонится... не бандит и даже не мачеха, а мама... ее родная мама... В те страшные минуты все происходящее было выше понимания восьмилетней Ольки, и единственным ее желанием было добежать до большого арыка, чтобы броситься в него, и больше никогда в жизни оттуда не выныривать... Потому что сейчас, убегая от мамы, она теперь уже точно никак себе не представляла свою дальнейшую, так незадавшуюся с самого начала, такую никчемную жизнь...

На большом арыке она внезапно остановилась и встала, как вкопанная, увидев мужчину, который почти на расстоянии вытянутой руки, копошился с кетменем у дамбы, заросшей камышом. Да, он мог только помешать возникшему у Ольки только что плану... Она растерянно оглянулась, и увидела, как мама, в полсотни шагах от нее, замедлила ход, затем остановилась, перевела взгляд с мужчины на Ольку и, постояв секунду-другую, медленно пошла в сторону их улицы. Мама шла вовсе не как Олькина мама, а, как другая, чужая женщина... И Ольке захотелось, что есть сил крикнуть, чтобы услышала вся округа: «Это не чужая, а наша мама!! Моя мама!... Она все равно меня тоже любит!.. Просто... так получилось...» Как вдруг она вспомнила о бабе Наташе: «Может, рвануть к ней?.. А вдруг не найду ее дом? А если и найду, вряд ли она обрадуется, когда расскажу, что я натворила... И что скажу, если баба Наташа спросит, почему я раньше не приходила проводить ее?.. Скорее всего, баба Наташа тоже расстроится... И от мамы потом еще больше попадет...» Ольку трясло и колотило. Обливаясь жгучими слезами, она медленно побрела обратно, туда, откуда только что гналась за ней мама...

Перебредя через арык и оказавшись на своей поляне, где мирно паслись их гуси, она упала лицом в траву и разрыдалась по-настоящему, потому что в ее одинокой и ранимой восьмилетней душе скопилось столько горечи, что внутри ей уже не хватало места.

Услышав прямо над ухом необычайно миролюбивое гоготание своих гусей, она приподняла голову и, несмотря на переполнявшую ее горечь, удивилась: вся стая, словно по-настоящему сопереживая, явно, разделяла боль Олькиных страданий...

Ничего подобного за ними она никогда раньше не замечала и, вообще, не помышляла о том, что ее гуси способны на такое... Стая взрослых гусей со своим совсем еще молодым потомством, медленно приближаясь, обступила Ольку и, кивая головами на вытянутых шеях, то и дело пригибая клювы к земле, утешающее гоготали, мол, не плачь, не плачь, Оль-га-га-га... Не стоит так убиваться... Ничего страшного ведь не произошло... И дальше все будет хорошо... Вот увидишь, га-га-га... Только не плачь, ага, ага?...

Потрясенная таким необычным поведением гусей, Олька поднялась на колени, и её вдруг осенило, что гуси, как никто другой, понимают ее, выражают ей свое сочувствие, утешают, и будут так успокаивающе гоготать и смотреть ей прямо в глаза, пока не убедятся, что она окончательно успокоилась, перестала плакать и тревожиться. «Гуси-гуси... Унесите меня далеко-далеко отсюда... Потому, что... потому что меня здесь никто не любит... и даже мама...» – растрогавшись, бормотала она, едва сдерживая вновь подступающие рыдания. Но, испугавшись, что если она таки разрешится и гуси, чего доброго, подумают, что они только зря старались ее успокоить, Олька, сделав над собой усилие, подавила возникшую к себе жалость и, еще всхлипывая, прошептала:

– Спасибо, гуси... Я вас... очень... очень люблю...

С наступлением сумерек на поляну прибежал Павлик, растревожил своим появлением уснувших гусей вместе с Олькой, и сказал, что его прислала мама, что она уже не злится на Ольку, и что краска, оказывается, высохла так быстро, что следов от того комка земли на полу вообще не осталось...

Сие означало, что мама Ольку простила. И они с Павликом погнали гусей домой.

Глава VIII

Как-то Толька, будучи еще первокласником (это произошло, как только они переехали), примчавшись на всех парусах из школы, сообщил маме, что он получил свою первую в жизни «пятерку». Но мама, не желая показать, что разделяет с ним эту радость, сказала, чтобы тот шибко не возгордился, потому как самая первая оценка еще ни о чем не говорит.

Тем не менее, вечером мама шепнула на ушко приятную новость отцу, который отуживав, подозвал Тольку и поинтересовался:

– Ну, шо там о такое, ты о то припёр домой у своём портфеле, га? Чем сегодня сынок порадуеть батько?

– Как будто, вам мама не сказала... – подозрительно косясь на отца, пробурчал Толик.

– Та ничего мне твоя засрата мама не говорила! Ну, так шо о то, двоечку принес, чи шо? Ох и тяжёла ж, наверна, была о та двойка...

– И не-а...И не двойку... – интриговал Толька, бурча себе под нос.

– Ну, тагда – тройку? Ага, значить троешником у нас Толька о то будеть. Молодец, сынок!..

– И не-ет...

– А шо, тада, если не двойку та не тройку?

– Да гадскую пятерку получил... – Приглушил, как мог свою гордость Толька, очевидно приняв таки к сведению замечание мамы.

– Та ну-у?! Та не можеть того быть! Ну-ка, покажи мне свою «гадску» пятерку о то... – искренне засмеялся отец.

Полюбовавшись пятеркой сына, отец закрыл тетрадку:

– Во-от, Толька, учись, учись, сынок. Шоб не дворником о то, та не трактористом, та не пастухом жеш тебе пришлось о то рабо... – он внезапно прервал назидательную речь и, после паузы, продолжил, но, уже достаточно серьезным тоном, – Шо-то я не по-онял... Толька!

– А! – от неожиданности Толька даже подскочил.

– Кто ж это тебе тетрадку о то подписувал?

– Мама... – недоуменно взглянул на отца Толик.– А че, красиво же...

– Это почему о тут о то... понадписана не моя о то хфамилия, а о той старой карги, га? – лицо отца мгновенно приняло выражение крайней озабоченности.

Но вместо Тольки на вопрос отца отреагировала мама, которая в это время перебирала в углу картошку:

– Тю-ю, совсем сдурел... Так у всех жеш четверых метрики на мою фамилию. Или забыл, шо сам же метрики и выписывал им всем? Вот, хто старый, а меня тока и знает, шо обзывает, – ко всеобщему удивлению, необычайно спокойно, даже не разгибаясь, ответила она.

– Так тада, оно... о то, шо?.. Выходить, шо надо теперь о то... регистрироваться, язви, чи шо?.. – сам же и ответил на свой вопрос отец, красноречиво почесав затылок. И после небольшой паузы продолжил, но уже более шутливым тоном, – Выходить, надо здаватца та записуваться, язви... Та с этою жеш вашей ма-амою, будь она не ладна... Чи – с этой Гашкою... чи с Салапэтею... И с этою старючею каргою мне о то теперь записуваться?.. Та никада у жизни! Та на гада оно здалося, шобы я о то...

– И никуда ты не денисся, старый Хрыч, – перебила его мама, – И законы эти – не я понавядумывала... Та можно и не регистрироваться; пускай тада все четверо так и продолжают мой род. С моих жеш родных пошти никого вже не пооставалося – с продолжателей Вишняк а, – отвлекшись от ведра с картошкой, не реагируя на шутки отца в свой адрес, вдруг задумчиво предложила мама.

– Болтаить, шо попало: буд-то хто с моих о то остался... Ишь, грамотна кака она нашлася... Шаманаиха!

– Та как это не осталось твоих, када у Ивана Славка, уже два года, как родился?

– Та на шо мне той Славка? Нет уж, стара карга, дудки! Мои кровные сыновья и будут о то под твоей – засратой о то хфамилией жить усю жисть? Та никагда, пока я живой, о того не будеть!! Не-е-т, дорогушечка, девки о то – временный товар, нихай им твоя хфамилия и достаётца. А Толька с Паукой будуть тока Журбенко и – точка!! Мои сыновья, шо хочу, то и делаю! Завтра же заеду у сельсовет, та узнаю там, шо к чему... Надо, Катя, срочно записуваться, язви их у душу...

– Та, как хочешь... Ну-ка, подержи мешок, – высыпая из ведра картошку, меланхолично согласилась мама.

Так, благодаря Толькиной «гадской» пятерке, спустя двенадцать лет после знакомства с отцом, мама приняла его предложение руки и сердца.

На следующий день отец полушутя-полусерьезно спросил у Аньки с Олькой, хотят ли они носить его фамилию. Анька сказала, что она уже привыкла к старой, поэтому предпочитает остаться на маминой фамилии – Вишняк.

А что до Ольки... Мамина фамилия ей-то нравилась, и даже очень, но, поскольку впервые в жизни ее, еще дошкольницу, удостоили чести предстать пред выбором, она и предложила всей семье свою версию: выбрать не из двух, а из трех – еще более красивых фамилий, и стать всем, например, Солнышкиными, Цветочкиными или Ромашкиными.

Но, все, кроме, конечно, Павлика, почему-то только посмеялись над ней.

Потому она не успела (да и не стала рисковать) озвучить пришедшие ей на ум тут же варианты фамилий, производных, к примеру, от того, что они еще ни разу не ели: Вафлина Оля, или Мёдова, Халвина, Конфетина, Котлеткина, Сметанкина или Колбасина... Да сколько угодно, но увы... Да, потом, и мама тут же объяснила, что люди, дескать, не могут менять свою фамилию, когда им это заблагорассудится. И что Олька должна-де и так радоваться тому, что родилась не какой-то там Соплиной или Дурочкиной. И еще, сказала мама, что только писатели могут выбирать себе фамилию, какую захотят, и даже привела в пример одного такого, который в метриках был просто Пешков, а когда вырос и стал писателем, то сам придумал и всю жизнь жил под жуткой фамилией Горький.

Конечно, Олька радовалась, что она не Соплина, не Дурочкина и не Горькая. К тому же, она не в силах была унять волнение оттого, что ей было чрезвычайно приятно, что родители впервые в жизни спрашивают ее мнение; что, вероятнее всего, ее и сподвигло подойти к данному вопросу с полной серьезностью и ответственностью.

Итак, догадаться о происхождении маминой девичьей фамилии Вишняк для Ольки не было ничего проще: просто, потому что мамы предки, полагала она, очень любили вишню и различную еду из вишен – от варенья до вареников. И, вполне возможно, что у них был самый большой и прекрасный в мире вишневый сад.

Испросила она и отца, что означает фамилия Журбенко, на что тот ответил, что слово «журба» с украинского языка переводится – «печаль». Ольку это, особенно на фоне псевдонима Горький, в общем-то, почти не смутило. Но, на всякий случай она поинтересовалась у старших: дразнят ли их как-нибудь в школе и если «да», то как именно? Толька сказал, что, его-то не дразнят, а вот Аньку дразнят: «Кислая вишня» или: «Вишня – жопа лишняя». Отца же, как на поверку оказалось, дразнили только собачьей кличкой Жульбарс, и то иногда, и то лишь после того, когда вышел в свет фильм с одноименным названием. Ко всему прочему, и весьма кстати, отец, сделал на тему о фамилиях свое небольшое дополнение:

– Та вишню о ту тока – гам, и нету ее! А печаль – она и есть печаль, и нихто ее не сожрёт. Та, шо там говорить, када Журбенко – самый славнецкий род на усей о то земле...

В общем, особенно вторая дразнилка, затрагивающая материнскую линию, легкоранимой Ольке показалась слишком уж грубой, и она решила, что едва ли вынесет, если ее так кто-нибудь когда-нибудь оскорбит. Что касается второй, она искренне надеялась, что ее – девочку, обзывать, как когда-то отца, вряд ли у кого-то повернется язык. Плюс ко всему она вдруг вспомнила и то, что баба Наташа ей, как-то разъясняла о весьма существенной разнице между «горем» и «печалью», когда они читали какую-то народную сказку, кажется под названием «Федорино горе»:

– Горе, Оленька – это непоправимая беда. А печаль человек душой—сердцем чувствует. Печалиться умеет лишь тот, кто не только и знает, что веселиться, а и скорбеть, и, смиряясь, сострадать, потому что он умеет думать, размышлять не только над прочитанным, а и над происходящим вокруг него, и в результате становится хорошим, светлым и мудрым человеком.

– Как вы, да же, баба Наташа?! – спросила она, с собачьей преданностью заглядывая в глаза бабушке.

Услышав явно неожиданный вопрос, баба Наташа сначала, было, смутилась, потом улыбнулась и, поглаживая Ольку по головке, ответила:

– Оленька, Оленька... Я немощная и грешная, Солнышко мое...

– И не-ет! И врё... ой, и не правду вы про себя говорите! Вот. Ба, и если я тоже буду над всем думать, то тоже помудрею, как вы, да же?

– Да же, Оленька, да же... – засмеялась баба Наташа, прижав к себе Ольку.

– А как я узнаю, что я... ну, что я уже помудрела, м-м, когда?

– А когда к тебе люди потянутся, тогда и поймешь...

– Когда все люди полюбят меня, мудрую, и будут меня защищать, да? И никто-никто обижать не будет?

– Мудрый человек не думает о своей мудрости, а просто делает людям добро, как бы ему тяжело самому не было. Зло ведь творить проще простого. Самое главное, Солнышко, знать, что Боженька видит всех нас и знает даже то, о чем мы думаем, не только наши дела. И, что Он спасает всех нас...

– И мудрых тоже спасает?

– Вообще, да. Но, мудрые люди настолько сильные, что они сами защищают слабых. С Божией, конечно, помощью.

– Значит, чем больше я буду печалиться, тем быстрее помудрею, подобрею, и от этого людям, а значит и Боженьке будет радостно, да, ба?

– Ну, в общем-то, да... – весело сказала баба Наташа и еще крепче прижала к себе Ольку.

– И Богородица и мой Ангел тоже обрадуются?!

– И... ага!

Принять окончательное решение в выборе фамилии, Ольке помогло еще и то, что мама рассказала, как они с отцом когда-то давным-давно смотрели в клубе очень хорошее кино про очень даже замечательную собаку по кличке Джульбарс.

Так одна из представительниц «временного товара» такого демократичного семейства Журбенко-Вишняк, подчинившись вполне, как ей казалось, здравому смыслу, приняла решение назвать свой корабль, под именем которого ей предстояло плыть, согласившись на фамилию отца.

И таким, собственно, образом родители заключили свой законный брак, и их дети стали, наконец, законнорожденными гражданами советского общества.

В школу Ольке, по правде говоря, хотелось очень давно и сразу по нескольким причинам: во-первых, обрести статус школьницы, во-вторых, научиться считать до тысячи, и в-третьих и в-главных, конечно же – правильно писать прописью. Поскольку письма, например, бабе Арише, в отличие от отца, она умела писать лишь печатными буквами, ей страстно хотелось

писать так же красиво и размашисто, как он. Руководствуясь этим неудержимым желанием, дождавшись окончания каждой Анькиной и Толькиной учебной четверти, Олька выпрашивала у них оставшиеся чистыми последние странички из их старых тетрадок, и разворачивала бурную деятельность по освоению письменности.

Дабы ее от этого увлекательного процесса не отвлекал Павлик, она давала ему задание, например, написать слова печатными буквами и, наконец, садилась за перо сама. Только теперь она «отрывалась по полной»... Дорвавшись до чистых листочков, настолько размашисто, насколько можно было только вообразить, применяя знаки препинания, которые только знала, она «изливалась» на бумаге все, что у нее на тот момент наболело, не замечая при этом того, как Анька с Толькой над ней исподтишка подтрунивали: «И че это она там малюет?.. Че попало чиркает, только нашу бумагу зря переводит... М-да-а, и почерк у нашей Ольки будет, даже не как у бати, а как у самого Ленина...»

А еще, касаясь школы, и, пожалуй, больше всего на свете Ольке хотелось на торжественной школьной линейке первого сентября рассказать одно лишь стихотворение... Только одно, хотя и очень длинное, но очень даже замечательное стихотворение.

Эта идея посетила ее голову после того, когда мама как-то пришла с Анькиного классного собрания и, всплакнув от счастья и гордости за старшую дочь, рассказала, как Анькина учительница хвалила старшую за то, что та баз запинки рассказала на каком-то там школьном торжестве стихотворение «Сын артиллериста».

Поскольку Олька тоже мечтала увидеть счастливую и гордящуюся ей, Олькой, маму, она и стала вынашивать план, чтобы первого сентября рассказать это стихотворение на линейке, и чтобы её учительница потом на собрании так же сообщила об этом маме, а мама, соответственно, отцу, Павлику... «А батя об этой радости напишет в письме бабе Арише... А Полина Васильевна расскажет бабе Наташе. Вот они порадуются!..» – мечтала она.

Дело в том, что еще, когда Анька это стихотворение учила, Олька его запомнила, а потом репетировала перед зеркалом, и, дабы впоследствии не сбиться перед более солидной публикой, частенько декламировала Павлику, представляя себя на крыльце-сцене перед всей школой:

– Константин Симонов!
Сын артиллериста! – торжественно объявляла она и начинала, —
Был у майора Деева
Товарищ – майор Петров.
Дружили еще с Гражданской-
Еще с двадцатых годов...
Вместе рубали былых
Шашками наскоку,
Вместе потом служили
В артиллерийском полку.
А у майора Петрова
Был Ленька- любимый сын...

Павлик, если, конечно, он не засыпал до конца стихотворения или, если Олька ни разу не сбивалась, одаривал ее настолько щедрыми аплодисментами, насколько только позволяли его ладошки. Олька, бывало, войдя в раж и, очевидно, для полноты ощущения счастья, просила Павлика, дабы тот еще и свистнул. И Павлик, с необычайной радостью выполняя эту просьбу, во всю глотку до посинения кричал: «Сви-исть!! Свисть!!! Сви-исть!!», будучи, конечно, уверенным, что он свистит по-настоящему.

В канун первого сентября мама с Олькой отправились в райцентр за приобретением обуви для всех, теперь уже троих школьников. Стоя в огромной очереди в обувном отделе

невероятно душного, единственного в райцентре универмага, они оказались рядом с бывшей землячкой отца по Муйнаку, тетей Марусей Роженко. Она еще тогда, едва узнав о переезде семьи Журбенко в Калинин, в числе первых прибежала разделить с ними это знаменательное событие и подарила маме почти новую и очень красивую блузку из парчи цвета морской волны, которую, кстати говоря, мама так ни разу и не надела, стесняясь блесток.

В универмаге мама с тетей Марусей, вполголоса переговаривались, обливаясь потом:

– Кошмар... – озабоченным тоном произнесла мама, – Мне уже троим надо куплять всё у школу... А на шо потом жрать – один черт знает. Не знаю я... А еще ж и на зиму надо шо-то брать. А к весне повырастают со всего этого, та порастрепают, шо и не узнаешь, и опять новую обувь надо... А там же еще четвертый скоро догонит этих... Пэцкайся, пэцкайся у том крематории, а всё – шо в трубу ту – заводскую...

– Подывилась бы я, як бы ты заговорила, Катя, колы б и твий Гаврыло був такый, як мий, инвалидом? Та було б в тэбэ нэ четыре басурмана, а целых шестэро, та ще уси хлопци...

– Та у тебя же младшая, вроде, девка?

– Ну так и шо, шо дивка? Дивка-дивкою, а и та вже свыстыть...

– Свисти-ит?! – искренне удивилась мама и, с трудом подавляя смех, начала беззвучно смеяться так, как никогда раньше за ней это не замечалось. Мама смеялась долго и до слез. Но тете Марусе, вероятно, было не до смеха, потому что она даже не улыбалась и, краем глаза недоуменно поглядывая на маму, продолжала в той же тональности:

– Хиба, думаешь, я з ними нэ муздякаюся?..

Когда маме, наконец, удалось погасить приступ смеха, она, вытирая слезы, снова вступила в диалог:

– Ну ты меня и насмешила своей девкою... А толку, Маруся, шо мой – не инвалид, а, шо тот кобель, каких поискать, да хер найдешь еще.. Ползарплаты вон... та не одному «бастрюку», а аж двоим приходитца отправлять каждый месяц...

– Та брэшешь?.. – настал черед удивляться тете Марусе.

– Было б, чем, Маруся, хвлицца...

– О, Боже ш мий... Хиба ж я, Катя, знала о то, шо Гаврыло... шо вин о такый бабнык... Та ныхай мий лучше инвалидом о то будэ, та вино ведрами хлебае, якшо був бы о такой о то кобэлякою... А мий жещ, Катя, ще и смольть, як оций паровоз: йому жещ о того «Бэломору» тильки у дэнь трэба аж по дви пачки...

– Маруся, Маруся... Давай-давай, скоренько – твоя очередь!

– О, як жещ це быстро, пока болакали... – спохватилась тетя Маруся, и, повернувшись к прилавку, протягивая продавщице свою домашнюю заготовку в виде вербных палочек-мерок с точным размером ноги от каждого своего ребенка до мужа, сказала. – Так, моя хороша, дай мэни ось шесть пар чировичьих взуття: з тридцать шостого по-о... сорок пятый, та одну – дивчачьих.

– Да-а? А холодной газводички вам, случаем, не подать? – вдруг перебила ее взмокшая от жары и бурной торговли новенькая молоденькая продавщица районного универмага, обмахиваясь крышкой от обувной коробки с надписью «Скороход».

Близстоящие очередники дружно засмеялись, очевидно, оценив неплохой юмор, который, судя по всему, мог быть направлен продавцом только в адрес хорошо знакомого покупателя. Но тетя Маруся даже не улыбалась, а наоборот, насторожилась:

– Та нэ валяйтэ ж о то дурачка, бо моя очередь пидойшла, тай нэ до шуток о то мэни...

– А спекулянтам сэдня велено не выдавать, тетя Мотя... Так, следующий!.. – продолжила более категоричным тоном продавщица, пристально глядя в глаза тете Марусе.

– Шо, шо-о? Та, разье..., вашу душу ма-ать... Я тэбэ покажу спэкулянтку... И спэкулянтку покажу и дэ раки зымують... – вытягиваясь через прилавок, словно гусеница, бормо-

тала тетя Маруся, пытаюсь дотянуться палочками до лица, взъевшейся на неё ни с того, ни с сего, продавщицы.

– Ну я следующая! Та вы здурели тут от жары, штоли? – обрела тут дар речи мама, – Да она же со мною всю очередь... Совсем с ума посходили... Такую очередяку выстоять и – н-на тебе!? А ну, быстро дайте моей куме то, шо ей надо!

Вскоре выяснилось, что спонтанно возникший конфликт оказался простым недоразумением, поэтому в итоге и разрешился в тети Марусину пользу. Хотя и не обошлось без формальностей: тете Марусе пришлось-таки предъявлять нерадивой продавщице, принявшей тетю Марусю за жетысуйскую спекулянтку Мотю, и удостоверение мужа – инвалида войны, и свое – многодетной матери, которыми она скорее стыдилась, нежели предпочитала размахивать, но все-таки брала иногда с собой на всякий, как говорится, пожарный.

Когда отвоєванные, наконец, башмаки, были наспех распаханы по котомкам, у тети Маруси, судя по ее весьма активному участию в момент выбора обуви мамой, открылось второе дыхание:

– А о ци Аньке з Толькою пидойдут, так? Подывись сюды, Катя, ма будь, Ольге ось о цэ пидойдэ?

Примеряя, как минимум, четвертую пару сандалий, Оляка уже не надеялась на удачу, поскольку у нее, как оказалось, выросла и без того слишком широкая стопа, в связи с чем ее нога не входила ни в одни сандалии ее размера согласно длине.

– Та шо у тебя за лапа, шо ничего не налазит, твою мать... – начинала, было, заводиться мама, усердно запихивая Олькину ногу в очередной башмак, – И в кого ты тока уродилася с такую лапищей?..

Ольке было стыдно и за свою широкую от природы «лапу», и обидно, что только с ней единственной столь неожиданно возникла эта нелепая заминка.

– Та е, Катя, у кого: подывись о то ж на свою лапу!

– У меня хоть и широкая, но аккуратненькая и тридцать шестой до сих пор налазит... А если у нее ближе к моим годам вымахает такая, шо ни одна обувка не налезет? Вот, у чём она завтра у школу пойдет, если щас на ее лапу не налезит ее размер?

Предприимчивая тетя Маруся легко нашла выход и из данной ситуации:

– Так, девчатки, бэрэм ось о ци голубэньки... Та воны тильки на размэр и билышэ, а по дороге до дому я вам зараз скажу, шо трэба робыть з ними потом. Давай, Катя, ращитуйся...

– Та, че ты за её так пикёсся, как за родную? – рассчитываясь с вновь заметно оробевшей продавщицей процедила нарочито подозрительным тоном мама в адрес новоиспеченной «кумы».

– А, можэ, кольсь вона будэ моею снохою? – лукаво прищурившись, улыбалась тетя Маруся, – Га, Оляка, будэшь моею снохою?!

– М-гм... – с наслаждением обнюхивая новые сандалии, согласно кивнула Оляка, дабы не огорчить такую добрую и такую оптимистичную тетю Марусю.

По дороге домой, под оживленную болтовню ни на секунду не умолкающих и весьма довольных «кумушек», изрядно напуганная предположением мамы на тему чрезмерного в ширь роста своей стопы в перспективе, Оляка шла следом и пыталась хоть как то успокоиться: «А если мои ноги вымахают, как у бати? А если, как у Гулливера? Вот, что я тогда буду делать? Все же надо мной будут смеяться... А если на меня в жизни, вообще, не налезут ни одни женские туфли? Что ли, я тогда так и буду всю жизнь ходить в мужских? И все время буду прятаться от людей? И как только я буду жить, если придется всегда прятаться? А если в школу не пускают девчонок в пацанячьих башмаках? А, может, они и не вырастут, как у бати, а будут, как у мамы... Ой, хоть бы были, как у мамы... – размышляла она, плетясь за мамой и тетей Марусей.

Когда они поравнялись с купающейся в арыке ребятней, Олька увидела на берегу пацана в черных ластах, и ее вдруг осенило: «Ё-моё!! И как это я сразу-то не додумалась: я ведь быстрее всех научилась плавать, потому что только у одной меня такие широкие лапы! Точно!! Потому что они у меня вместо ласт... и поэтому помогают мне хорошо плавать! Вот здоровски! Так что пусть растут себе, сколько захотят. Да хоть бы выросли! И, чем больше, тем лучше! Потому что я тогда... Да, может, я тогда со своими ластами устроюсь пловчихой работать... ну, когда стану молодой... И, тогда, я не с такими, как у этого пацана – резиновыми, а со своими – настоящими лапами-ластами буду плавать на работе! Тогда на резиновые, вообще, не надо будет деньги тратить. Буду кого-нибудь спасать в большом арыке или в канале, или лучше в реке... Нет, лучше всего в море: там хоть с дельфинами подружусь... а, может, даже и с китами... Скорее бы дойти до дома и рассказать эту радость Павлику. Вот он обрадуется!..»

Дома по совету тети Маруси мама на Олькиных сандалиях сделала надрезы, проткнула по паре дырочек на каждом, затянула в них отрезки шнурков из Толькиных ботинок и запихала вату в носки.

– Фух, Слава Богу, шо хоть этим обувка сразу подошла, – облегченно выдохнула мама, глядя на примеряющих обнову старших, – Та хоть с ихними туфлями не надо так муздякатца. Так, давайте, собирайтесь – поприготовляйте всё, шо надо к завтраму. А то мне еще тут, как бы не до полночи с Толькиными штанами пэцкатца.– распорядилась она, принимаясь ушивать Толькины новые школьные брюки.

Подготовив перешедший в наследство от Тольки портфель с учебниками, Олька начала подготовку гардероба. Сначала она постирала и погладила бывший Анькин белый передник, затем принялась за коричневое платье, в котором ей уже завтра предстояло идти первый раз в первый класс! Хотя платье и было с зашитыми кое-где дырочками, потому что его уже носили, по крайней мере, две двоюродные сестры и Анька, Ольке, тем не менее, оно очень нравилось, особенно воротничок-стоечка с оранжевой вышивкой крестиком. Размышляя о том, что она, наконец, выросла, и теперь имеет полное право надеть это школьное платье, Олька вновь была на седьмом небе от счастья. Она его постирала, погладила и пришила сзади на горловине, взамен утерянной, крохотную, василькового цвета пуговичку, которую давно облюбовала еще на старом платье, когда-то принесенном соседкой тетей Эрной.

Когда почти все было готово, она попросила маму пришить воротничок и манжеты, но мама была слишком занята Толькиными штанами потому и обратилась к старшей дочке:

– Анька, та пришей жеш и ей воротничок с обшлагами, видишь – мне некада...

– Пусть сначала постирает!

– Так ты ж сама их засрала еще у прошлом году, вот, сама и постирай! Как себе, так она попришивала, а младшей сестре, значит...

– Да, пришила себе! И она мне не сестра, а татарма несчастная, подобратая на дороге! Пускай сама и пришивает... – хихикнула Анька.

– О, та она, смотри-ка... Анька, та она, вон, вже и постирала всё и погладила. Давай-давай, пришей ей скоренько, не выкаблучивайся... Здоровая уже кобыляка вымохала, должна мне уже помогать...

– Пусть сама пришивает! Я себе сама пришивала!

– Та, че ты врешь, шо сама? Када я до самого третьего класса всегда пришивала...

– Сами вы врете!

– А, неси сюда, Ольга. Ну, ее, в м... ду! Давай, я тока покажу тебе, а дальше ты сама...

Когда, наконец, воротничок и манжеты были пришиты, Олька, конечно, огорчилась, что под пришитым воротничком теперь никто не увидит ни эту красивенькую синенькую пуговичку, ни вышивку. Хотя, если она захочет кому-нибудь в классе показать эту красоту, то отогнуть воротничок ей особого труда, в общем-то, не доставит.

Следующим этапом подготовки к школе были водные процедуры. Маме не понравилось, как Олька вымылась самостоятельно, и она остервенело, грубой мочалкой принялась отдраивать младшую:

– Пооставляла всю грязь, шо на шеяке, вон, шо на коленках... А на локтях... мать моя родная! Та у негров белее шкураяка, чем у тебя!

– Да это же загар... – уныло стоя в корыте, Олька тщетно пыталась объяснить маме.

– Какой там, у сраку, загар, када вода, вон, черная тикёт?

– И ничё – не черная... У Тольки чернее была... Ма, а бантик завтра какой, м?

– Ты лучше спроси, чё завтра жрать будем? Де у меня деньги на те бантики? И так с пустым кошельком пришли с райцентра... С этой вашей, чёртовой школой, скоро, наверна, по миру пойдешь... Я той-то еле-еле выкроила на бантик. И то – шобы тока она не гавкала!! – последнюю фразу маме удалось вскрикнуть прямо в ухо, проходившей мимо нее в тот момент Аньке.

– А, если не пустят на линейку без бантиков? – спросила Олька.

– Та кому ты там, на той чертовой линейке нужна будешь? Найди тот Анькин старенький, простирни, прогладь его, а я спичкой обожгу то, шо сыпитца, шоб совсем не пообсыпался. А ко второму классу, може, и купим потом... Так, всё, мотай, – мама набросила на голову младшей полотенце, – суши башку сама, а то я не дошью сегодня эти б... ские штаны... – присев к машинке и, где ногтями, где зубами распарывая швы Толькиных брюк, продолжила ворчать, но уже в адрес их будущего хозяина, – Какой сам, паразит, вреднючий, так и шьютца они ему...

Приготовив, только что унаследованный желтый узенький с обожженными краями бантик, Олька остригла ногти, легла в кровать и с трепетом стала ждать утро нового дня совершенно новой, такой неизвестной и такой почти взрослой жизни.

Утром, едва выйдя из калитки, Толька рванул по улице первым, и бежал он уже во второй класс. Следом быстрым шагом шла Анька, торжественно неся какие-то Олькины документы, а за ней, стараясь изо всех сил, дабы не отстать от сестры, семенила на свою первую школьную линейку Олька: «Ой, а вдруг учительница сейчас меня, как спросит, например, счет до десяти в обратном порядке?... Десять, девять, восемь, семь, пять... ой – шесть... Десять, девять, восемь, шесть... тьфу, – семь!..»

В нескольких шагах от угла школы Анька резко остановилась, с минуту нетерпеливо подождала Ольку, и, нахмутив брови, проворчала:

– Ты че, еле плетешься, блин? Я же опоздаю из-за тебя!

– Да сандалии, блин, жмут... или трут... или уже натёрли... – глядя на сандалии, с трудом сдерживая слезы, виновато промолвила и без того напуганная Олька.

– Не ной! Так. Учительницу твою зовут Гиршина Анна Дмитриевна. Как меня. Запомнила?

– Да...

– Повтори!

– Гы... Гир... Анна... – растерявшись вконец и испуганно заглядывая в глаза сестры, пролепетала она. – Дим... Ой, забыла...

– Пф-ф... Ан-на Дми-три-ев-на, бестолочь! Она самая строгая, зато самая умная и справедливая, поняла?

– М-гм.

– И не трясись! Теперь ты каждый день будешь в школу ходить, и че, так и будешь ныть?!

– Ладно, не буду... – пообещала Олька, в который раз пытаясь взять себя в руки.

Оказавшись, наконец, на площадке перед входом в школу, Анька подвела Ольку к очень симпатичной, средних лет, элегантно одетой учительнице, строившей первоклашек, отдала ей документы и побежала искать свой, уже третий «А» класс.

С первой же секунды Олька ощутила на себе, мягко говоря, недоброжелательный взгляд, а затем услышала и голос учительницы:

– Становись сюда. Гос-споди-и... на линейку – с таким бантом?.. А где только... и форму-то такую берут?.. – окинув Ольку брезгливым взглядом, проворчала вполголоса учительница и, взяв Ольку жесткой рукой за плечо, поставила в задний ряд с мальчиками.

Увидев впереди стоящих девочек с пышными белыми бантами, Олька поняла причину раздражительности учительницы: ей показалось, что теперь ее, без бантиков, не только учительница, но и весь класс возненавидит, и ей со страшной силой вдруг захотелось обратно – домой...

Все торжество Олька стояла в страшном напряжении. Ей уже стало казаться, что легче взять и умереть, чем вот так стоять на солнцепеке, на одном месте и ждать, когда закончат говорить непонятные речи стоящие под козырьком навеса сначала учителя, а затем еще и директор.

Как вдруг, увидев среди учителей до боли знакомое лицо, Олька воспряла духом и едва не вскрикнула: «Ой... Полина Васи-ильевна!... Родная моя... Все ведь будет хорошо, да же, Полина Васильевна?...» – с обожанием она глядела на внучку бабы Наташи. Но ощущение струек пота на лице, шее, спине и даже ногах взяло верх, мысли сами по себе переключились и потекли в противоположном направлении: «... Если бы не эти вонючие сандалии... Блин, как бо-ольно... И еще эта учительница... Вон, опять посмотрела на меня, как Гитлер... Не-ет, она умрет, но не разрешит мне сегодня рассказать „Сын артиллериста“... Зря я сюда пришла. Надо как-то убежать домой...»

Сразу после линейки учительница объявила, что весь класс сейчас дружно пойдет еще и в какую-то «дальнюю» школу, о которой раньше Олька, конечно, не подозревала. И, под нещадно палящим солнцем, мужественно преодолевая почти трехкилометровый путь, первый «А» класс пошагал по центральной улице, мимо магазина – туда, куда Олькина нога еще ни разу в жизни не ступала. Дорога состояла из щебня до более крупных острых камней и булыжников вперемешку с пылью, клубы которой от проезжающих то и дело грузовиков лезли прохожим в глаза, нос и рот.

Примерно в середине пути, когда боль от лопнувших мозолей стала просто невыносимой, Олька сняла сандалии и понесла их в руке. Но камни в пыли были слишком острые и доставляли ей только еще большую муку. А поскольку содранные мозоли кровоточили, и попавшая в ранки пыль больно щипала, она, пройдя босиком с полсотни шагов, снова надела вмиг ставшие ненавистными сандалии.

Сначала она шла и надеялась, что вот-вот учительница или кто-то из сопровождающих родителей, скажут, что вот они и пришли... Но никакой дальней школы не было и в помине, а учительница и родители тоже, прикрывая рты носовыми платочками, всё шли да шли молча. Олька изо всех сил старалась не думать о том, что этот путь, когда их отпустят домой, ей придется делать снова... причем, каждый Божий день... Но невеселые мысли нахально так и лезли в ее голову: «И завтра по этой же дороге... А если не заживут мозоли до утра?... И послезавтра?... И после послезавтра?... Только не это! Только бы не зареветь, а то будут до десятого класса дразнить ревой-коровой... И так, вон, уже... все косятся... Не нравится им ничего у меня... Еще раз кто-нибудь покосится – покажу язык, будет потом знать, как коситься на меня...»

...Лишь немногим позднее умная Анька, конечно же, не без сарказма откроет Ольке секрет: оказывается, это «благодаря» старшей сестре в том числе, в течение четырех лет Олька будет ходить на противоположный конец поселка в эту дальнюю школу. И всё, потому что мама, по совету своей напарницы, решит отдать Ольку к «строгой, но справедливой» учительнице, для чего и велит Аньке, дабы та навела о таковой справки. И Анька наведет. И приведет Ольку к очень сильной, даже чересчур сильной учительнице, в чересчур дальнюю школу.

Называлась школа «дальней», потому что находилась на самой окраине, где еще первооткрыватели Калинина много лет тому назад посадили самый первый совхозный яблоневый сад. А спустя время, когда в центре поселка построили новую совхозную контору, старое здание, состоявшее из четырех кабинетов, выпросили у местного руководства под начальные классы родители, проживавшие вблизи теперь уже бывшей конторы, дабы их малышам не пришлось преодолевать слишком дальний путь в основное здание большой школы, что в центре. И теперь в трех кабинетах бывшей конторы занимались дети с первого по третий класс, а в четвертом была учительская.

Наконец, первый «А» из сорока двух человек подошел к зданию, в котором им предстояло грызть гранит науки, как минимум, четыре долгих-предолгих года...

Едва переступив порог класса, Олька увидела сиротливо, и оттого очень трогательно, аккуратно стоявшие на полу у входа чьи-то запыленные коричневые сандалии. От созерцания такой картины Олька почувствовала невероятное облегчение и, ни секунды не раздумывая, а предвкушая одну только радость, нетерпеливо стала стаскивать и свои... Но, «умная и строгая» Анна Дмитриевна категоричным тоном запретила ей это делать и повелела сесть за вторую парту в среднем ряду. Мгновенно вычислив хозяина одиноко стоящих сандалий, которым оказался новоиспеченный Олькин однокашник Яша Мартьян, учительница заставила его незамедлительно обуться.

Наконец в классе воцарилась тишина, и начался, их первый в жизни урок.

Олькиным соседом по парте оказался тихий, почти глухонемой, но очень улыбчивый Эдик. Соответственно ответив на улыбку соседа, она окинула оценивающим взглядом класс от пола до потолка и восхитилась как красивыми, нарядными детьми, так и прохладой, царившей в чистом, уютном классе; высоченные свежесмытые стены, большие окна, дверь, парты и классная доска – все, как ей казалось, сияло новизной. Она тихонько сидела и все разглядывала, с удовольствием вдыхая запах свежей краски, царивший в этом новом для нее мире.

Вдруг ее взор невольно остановился на первой парте соседнего ряда, за которой тоже сидели девочка с мальчиком. На первый взгляд они были, как будто, обычными, хотя... Мальчик был единственным в классе очкариком, а девочка, подстриженная почти так же коротко, как сосед, отличалась ото всех матово-рыжим оттенком волос и очень красивыми на лице веснушками. От них обоих исходила какая-то особая, осенняя прелесть, и Ольке они сразу показались самыми красивыми из всех присутствовавших. Вообще-то, Олька за свои семь лет, пусть не так часто, но все же встречала и рыжиков, и ребят в очках, но те на нее не производили ровно ни какого впечатления. Эти же – просто потрясли ее не только своей неземной красотой, а чем-то еще таким... пока необъяснимым, и Олька мысленно даже упрекнула себя в том, что не обратила внимания на такое двойное чудо, даже несмотря на довольно продолжительное совместное путешествие. Девочка с двумя огромными, пышными белоснежными бантами, каким-то непонятным образом прикрепленными к ее коротким, но достаточно густым волосам на самой макушке, повернувшись лицом к классу, мило улыбалась. Ольке казалось, что зовут эту девочку ни как, не иначе, а только Светлана, если, конечно, она русская, а если немка – Ангела, так как она не знала более изысканных имен, достойных такой необыкновенной, лучезарной красавицы. Мальчик же, хотя и был без веснушек, и вообще не был рыжим и не улыбался, отличался от прочих даже не очками, а чем-то другим, что, скорее, больше было у него внутри... Пока Олька не могла понять, что же такое есть в этом серьезном парнишке, что делает его таким непохожим на остальных сверстников. Ей даже раз показалось, что от этих ребят, как ни от кого другого, исходил необыкновенный свет. Тихонько вздохнув, она подумала, что если даже ей предстоит видеть их всю жизнь изо дня в день, она не устанет ими любоваться. И ей вдруг почему-то подумалось, что Ангелы на небе именно такие, разве что те полностью в длинных белых одеждах да с крыльями.

Сделав над собой невероятнейшее усилие, она, наконец, оторвала взгляд от этих, почти неземных божественных существ и стала с горечью сожалеть, что под пришитым к ее форме воротничком никто не видит ни ее красивую синенькую пуговичку, ни оранжевую вышивку...

Через какое-то мгновение выяснилось, что мальчика зовут Шурик по фамилии Красовский, а девочку – Катей Чарунской. Но Олька ничуть не огорчилась, что Катина фамилия менее прекрасна, нежели у Шурика, а наоборот, вдруг обрадовалась, имени девочки, потому, хотя бы, что именно так зовут ее, Олькину маму... По которой впервые в жизни за эти нескончаемые полдня она успела изрядно истосковаться. Она даже отметила про себя, что Екатерина – самое замечательное имя на свете. Ей вдруг страстно захотелось хоть чем-то стать похожей на Катю-одноклассницу, и она подумала, что если она никогда не сможет стать такой же красивой, то, когда вырастет, у нее будет такая же красивая дочка, которую она непременно назовет Катей. И когда ее Катя пойдет в первый класс, Олька накупит ей много красивых вещей у той спекулянтки, ну, которая в день выдачи зарплаты ходит по поселку с большой сумкой и продает всякие разные вещи, которых нет нигде, и даже в универмаге райцентра. И наденет она на свою дочку такую же красивую форму с мелкими складочками, как у Кати, с кружевными манжетами и воротничком, такой же капроновый фартук, и такие же огромные банты, и белые гольфики, и вишневые туфельки с маленькой кругленькой пуговичкой. А потом... потом у Ольки появится такой же необыкновенный, как Шурик, сын... он тоже будет такой же красивый и непременно в очках...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.